

ВЯЧЕСЛАВ СОФРОНОВ

СИБИРИАДА

СИБИРСКИЕ
СКАЗАНИЯ



Сибиряда. Собрание сочинений

Вячеслав Софронов
Сибирские сказания

«ВЕЧЕ»

2019

Софронов В. Ю.

Сибирские сказания / В. Ю. Софронов — «ВЕЧЕ»,
2019 — (Сибириада. Собрание сочинений)

ISBN 978-5-4484-8120-8

Творчество тобольского писателя и историка Вячеслава Софронова главным образом посвящено Сибири, где он родился, вырос и впитал культурные традиции. Сюжеты этих сказаний собирались и обрабатывались автором на протяжении нескольких десятилетий во время путешествий, бесед со старожилами, сказителями, помнящими и бережно хранящими народные предания.

ISBN 978-5-4484-8120-8

© Софронов В. Ю., 2019
© ВЕЧЕ, 2019

Содержание

Книга первая	5
Тобольские сказания про разные названия	5
Как город Тобольск ставили	5
Отчего кремлевскую гору Алафеевской прозвали	7
Как Иртыш с Тоболом боролись	9
Как река Вагай свое прозвание получила	11
Про первого кузнеца сибирского и мыс Чукманский	13
Как купец Сыромятников квасом торговал, свое прозвание получал	15
Про Панин бугор и Илью-пророка	17
Про жар, про пар, про лог Банный	19
Кукуй	22
Про Казачий взвоз и бороды запретные	23
Про речку Курдюмку, тетку Агафью и воронье тобольское	26
Абрамов мост	27
Речка Помаскинская	29
Тырковка-Затырковка	30
Про пушки царские и богатыря Ваню Силина	32
Как царев бомбардир-солдат шлюз на речке построил	34
Архиерейская роща	36
Рентерея Тобольская	37
Старый Кремль (детская сказка)	38
Сибирские сказы про разные проказы	40
Колокольные кони	40
Хомут	41
Репа	44
Тюремная цыганочка	46
Паромная уха	49
Про семинариста Платона Петухова и корову Пчелку	51
Проказы Димы Менделеева	53
Как Александр Алябьев с собачкой совладать не смог	54
Кюхельбекер Вильгельм и нищий каторжник	55
О царевом племяннике, девице Агриппине и купцах Корнильевых	56
Как Петр Ершов из Тобольска уехать собирался, да в нем и остался	58
Про старца Распутина Григория и семью царскую	59
Чудотворье	61
Видения	61
Видение первое	63
Видение второе	63
Конец ознакомительного фрагмента.	64

Вячеслав Софронов

Сибирские сказания

Книга первая

Сибирские сказания

Тобольские сказания про разные названия

Кто может подсчитать возраст сказки? Кто первый придумал, дал названия рекам, горам, народам? Как вновь рожденному человеку дают имя, так и городу, улице, предместью присваивают свое единственное название, которое живет годы и столетия, переходя из поколения в поколение.

Названия тобольских местечек, речек, холмов и мостов оставлены нам от предков, как вехи прошлых веков. Со временем эти названия стираются в народной памяти, а то и вовсе теряют свой изначальный смысл. Поэтому и хочется в одной книге собрать истории, связанные с местными тобольскими названиями, чтобы они не затерялись, не исчезли в суете времен, чередой событий.

Русский народ очень восприимчив ко всему необычному, что происходит вокруг. Испокон веков складывались сказания, пелись песни о битвах, сражениях, героях. Врагам давались обидные клички, прозвища, зато люди, пользующиеся почетом, уважением, получали совсем иные прозвания. Так и названия рек, улиц, местечек никто специально не выдумывал, они возникали как бы сами собой, переплетаясь с судьбами людей.

Предлагаемая читателю книга не ставит своей целью научную расшифровку того или иного названия. Это скорее исторические анекдоты, что были очень распространены в прошлые века, шутливо и иносказательно повествующие о происходящем. Не надо искать в них конкретности и особой достоверности. Могло ли такое быть, случиться? Могло! А могло и не быть. Свидетельство тому – народная память, а русский народ всегда щедр на выдумку. Шутки помогали легче переносить житейские тяготы и суровость нашего таежного края.

Сибирь – край веселых людей, где и шутка водилась, и дело делалось.

Кто народ веселит, за того свет стоит.

Смех тридцать лет у ворот бродит-ходит, а свое возьмет, вышутит.

И наши сказания веселы да задиристы. Верить им или нет – дело читателя, но родились они в Тобольске-городе, тоболяками придуманы. А кто не верит, пусть нас проверит. Согласны?

Как город Тобольск ставили

У кого как, а у нас город в аккурат стоит: собой приметлив, с людьми приветлив, для приезжих мил – всем умастил! Где такое найдете-сыщете, чтоб при двух реках, при трех горах, о два жилища городок стоял?!

Тут и лес, и поле – всего вволю, хоть бегом беги, а сможешь, так летом лети, крылы-крылышки выпускай, до неба доставай. Про Тобольск наш разные сказки рассказывают, байки бают, старину вспоминают. Кто в нем не бывал, тот и счастья не знал.

Таких, как у нас, девок-припевок нигде в мире не сыщешь, зря жизнь просвищешь; а парней-богатырей – сто пар сапог собьешь и за Уралом не найдешь; а наших дедов-мудрецов Бог

умом наградил, в первый ряд посадил; а нашенские бабы такие шаньги пекут, что слюнки по подолу сами текут.

И все эти чудеса-разности в Тобольске-городе водятся, до сих пор не переводятся. Тут и Богу служат, в колокола бьют, а праздник подходит, и винца попьют. Все под Богом ходят, да далече не заходят: хошь ты русский, хошь татарин или иной басурманин.

Не город, а сказка, для души ласка. И живется, и дышится легко-легонько, день за днем бежит потихоньку, пусть не быстро, но главное – не корыстно. Живи, радуйся, сколько хошь, а добрых людей дурным словом не тревожь.

Есть еще в Сибири город Тюмень, пыль собирала со всех деревень. Что у нас в Тобольске не прижилось, то в ней завелось. Тем и пользуются-радуются, на большее не оглядываются.

А ведь могло такое случиться, что и город бы наш не родился. Да видать случай к нам, с Божией помощью, лицом повернулся, – сам Господь помог, в бороду улыбнулся, по его воле не в чистом поле, а в добром месте город заложили, крепость срубили, чтобы жили все в радости да творили благодати.

Давненько то было, да не все позабыли, как прибыли из-за Иртыш-реки стрельцы-казачки с воеводой Данилой по прозванию Чулковым, мужиком толковым. Дал им царь Федор, самого Грозного Ивана сын, указ, чтоб тот воевода крепкую крепость срубил-сладил, на крутом берегу поставил.

Плывет воевода на струге-ладье от горы к горе, а кругом все места чудные, завидные, одно другого краше: хошь в одном месте город-крепость руби, а хошь напротив ставь. А дело нешуточное так город поставить, в точку попасть, перед царем не ударить в грязь, чтоб он собой хорош был, долго людям служил. Один день проходит, другой кончается, третья зорька над Иртышом-рекой занимается, а Данила Чулков глаз не смыкает, все место подыскивает, выбирает.

Сплавали к городку ханскому, что на крутояре стоит, врагам грозит. Там Ермак-атаман с дружиной своей две зимы зимовал, горя много повидал, половину товарищей схоронил, в землю зарыл. Нет, не годится рядом с могилами жить-селиться да в праздники веселиться, не заведено так у людей православных, не принято.

Взобрались на гору Чувашскую неприступную, где хан Кучум свои сотни держал, казаков в Сибирь не пускал, да те все одно его скинули-сковырнули, обратно не повернули. И тут кровушки русской много пролито, жизнью положено без числа, не годится место для житья. Да и леса крепкого, строевого близко не сыскать, а зиму осталось недолго ждать, надобно башни острожные срубить, стены поставить, жилье для стрельцов-казаков обустроить.

А был из их числа, из артели парень молодой: хорош собой, совсем безусый, волосом русый, именем Андрей, а по прозванью Устюжанин. Он все рыбной ловлей занимался-тешился, на всю артель рыбу добывай, свежей ухой, что ни день, угощал. Пропадал по заводям да омутам то с сеткой-ряжевкой, а то с переметом. Весь день его среди казаков не было, а к вечеру бежит по берегу сам не свой, рот до ушей сплошной дырой.

Бегом бежит, что есть мочи голосит. Шапку ветром сдуло, сапоги илом затянуло:

– Ой, мужики! Диво! Ой, родненькие! Чудо! Сколь лет на свете живу, а такого не видел, не слыхивал. Расскажу, не поверите...

– Чего голосишь, будто с печи свалился, – мужики ему. – Водяной, что ль, за штаны схватил или русалка поцеловала?

– Если бы водяной или русалка, а то... чудо! Рыбина поболее меня на песке лежит, носом шевелит. Только вместо носа у нее копье острое, на спине шипы, что у твоей бороны, плавники размером с руку.

– Ой неспроста это, – мужички-казачки меж совой зашептались, заперемигивались. – Где это видано-слыхано, чтоб рыбина сама на берег выскочила? Уж не сам ли рыбий царь к нам

пожаловал? Только к добру то али к худу? Веди нас, Андрюха-простуха, на то самое место, где тебе рыбина чудная явилась, а потом решим-поглядим, как дело повернется-сложится.

Пошли они все скопом. Впереди Андрюха поспешает, следом воевода Чулков шагает, а дале по всему берегу стрельцы-казаки тянутся, пищали ружья наготове держат, на всякий случай. Вскорости добрались они до того места, где Устюжанин свой перемет в реку закидывал. Глядь, а на песке мокромя вмятина огромная, будто кто бревно тащил-волол, прямехонько в воду уходит.

– Вот здесь он лежал-полеживал, на меня глазищи свои таращил. – Андрюха им указывает.

– Лежать-то, может, и лежал, да обратно сбежал. – Казаки в головах чешут, на Устюжанина поглядывают. – Уж больно велик, дажесь и не верится...

Только они это сказали-молвили, как вода возле берега забурилась, ходуном заходила, и шась оттуда башка длинная, узкая, а вместо носа и впрямь копье торчит, покачивается.

– Так то ж осетр! Как есть рыбий царь! – казак один вскричал.

– Точно... Видать, знак нам подает царь рыбий...

Повернули головы назад, вверх глянули, а над ними холм, лесом строевым весь поросший-покрытый, и к нему ложок удобный ведет-стелется, под холмом речка малая струится, журчит водой ключевой, чистой, прозрачной.

Взобрались наверх, глянули – красотища! Иртыш мимо холма седые волны несет-бурлит, у другого берега лось из глухого урмана вышел, рога к воде наклонил, грозно трубит, в небе птичьи стаи кружат-летают, друг дружку догоняют.

– Да! – Данила Чулков руки раскинул, ливр ветру подставил, тово и гляди, сам полетит прямо с холма. – Сколь не ходи, а на сто верст лучше места не сыскать под крепость-городок! Такой простор для сердца, для души русской вряд ли найдешь. Не зря рыбий царь нам являлся, сокровенное место указал, и Богу, и людям угодное, для житья пригодное. Так тому и быть!

Перекрестились стрельцы-казаки, батюшка заздравный молебен отслужил, взяли за топоры-пилы, стали лес валить-шкурить, город-острог ставить.

Первым делом церкву заложили во имя Пресвятой Животворящей Троицы, поскольку все едино в мире этом: и земля, и воздух, и вода речная. А городок тот Тоболеском нарекли, именем заветным, ласковым, крепким и нерушимым. Чтоб стоял он веки вечные, добрым людям защитой служил, твердыней по всей Сибири слыл.

А осетр тот, царь рыбий, каждое лето на Троицын день из воды речной выныривал под самыми городскими стенами, условный знак подавал, острог от напастей всяческих оберегал. Старики говаривали, мол, пока тот осетр подле города обитается, в мире с людьми живет, то и Тобольску быть-стоять. А коль уйдет в иные места, прогневится на нас, то и беды разные пойдут, всех изведут.

Если кто наш сказ проверить пожелает, пусть на Троицын день на берег выйдет, да и подождет от царь-рыбы знака условного, сам во всем убедится, сверится.

Отчего кремлевскую гору Алафеевской прозвали

Гора кремлевская, на которой сейчас наш Тобольский кремль стоит-примостился, раньше вся лесом густым поросшая была. Зверье там разное водилось, охотники ловушки ставили, промышляли, кто чем мог. А на самой макушке, на пяточке, что на реку выходит, идолы древние стояли, шаманы подле них жили, в бубны круглые били.

Потом иная вера в Сибирь пришла. Прогнали шаманов за дальние болота, а на холме том главный татарский мулла поселился. Как только солнышко на закат начинает клониться, в волны иртышские садиться, тут мулла колени к земле преклоняет, руки к небу вздымает и на

всю округу кричит: «Алла, алла...» С днем попросается, проводит и айда спать, утра спать-почивать, чтоб утром сызнава ту же молитву начинать.

Долго ли, коротко ли жил мулла на своем холме, а вышло однажды плыть по Иртыш-реке на струге-лодочке Ермачку-казачку, удалому мужичку. Только стал он мимо холма проплывать на стремнине, где дна не видать, как случилась на ту пору буря неожиданная, небывалая, ураганная: ветер свистом свистит, глаза слепит, волны величиной с гору гонит-вздымает, деревья вековые с корнем вырывает.

Ермачок-казачок решил судьбу не пытаться, бурю у берега переждать. Во всяких походах он бывал, много лиха видал-испытал, а на реке лихо не лежит тихо, своего часа ждет, незаметно и нападет. Поплевал он на ладони, крестом широким перекрестился, Господу Богу помолился, налег со всей силы-мочи на веслица тесовые, погнал стружок-лодочку супротив ветру, поперек волны, да еще во всю мочь песню казачью запел-затянул про волю-вольную, про степь раздольную.

Только буря-ураганище, видать, подшутить над ним решила, поиграть с казачком в игры смертные: вздымет струг-лодочку на гребень, на другой перекинет, покрутит-повертит, норovit вверх дном перевернуть, гребца на глубину утянуть.

Но хоть и сила велика у Иртыша-богатыря, а с Ермачком-казачком, бывалым мужичком, одной силой не совладать, свистом-посвистом не запугать. Гребет он супротив ветра, поперек волны, каблуками в борта крепко-накрепко уперся, шапку с червлёным верхом на глаза натянул, кушак покрепче затянул, веслами тесовыми, словно мельница ветряная, загребают, волну круто рассекает. И берег все ближе, вот-вот пару раз гребнет и на песочек выгребет.

Видит буря-ураган, что Ермачок-казачок на своей стружке-лодочке, как по воздуху, летит, вскорости на бережок выскочит, рассерчала-осердилась, пуще прежнего разъярилась, как ударит волной в сто пудов по веслу тесовому, да и сломала-обломила его пополам посерединке на две половиночки. И смеется-хохочет, что теперь казак делать-работать станет, как с волной совладеет.

Приуныл было Ермачок-казачок, с одним веслом оставшись, как ему супротив бури-урагана биться-бороться. С ветром, с водою дружи, не дружи, а все одно, жди беды. На все Божия власть, на реке не поспишь всласть. Взаяся он за одно весло двумя руками, рукава загнул-закатал, сызнава на ладони поплевал, гребет слева, навалится справа, стружок-лодочка ход набирать начала, ближе к берегу подплыла, руку протяни – и до землицы, милой сестрицы, достать можно. Только буря-ураган не спит, не дремлет, стружок-лодочку, как шейку, треплет, на месте вертит, волнами горами поигрывает, ветром глаза слепит, страшным посвистом в уши свистит, силы отнимает, к берегу не пускает. Тут тучи черные-свинцовые раздвинулись-разошлись, вылетела из них стрела-молния, угодила прямехонько во второе весло, расщепила его на щепочки обломочки, по реке унесла-рассеяла.

Сорвал Ермачок-казачок шапку с червлёным верхом с головы, кинул ее в сердцах на дно, кулаки до бели сжал, бурю-ураган крепким словом обругал-выругал: «За что ты на меня зло держишь-таишь?! Отчего погубить норовишь?! Может, и согрешил я в чем перед Господом, но даю слово крепкое, нерушимое искупить вину, замолить грехи, жить отныне по вере Христовой, праведной. Только помоги мне, Господи, на землю твердую ступить-выбраться, с ураганом-бурей совладать-справиться».

Поднялся Ермачок-казачок во весь богатырский рост, глянул по сторонам и не знает, откуда ему помощи-подмоги ждать-подждать. С неба стрелы-молнии летят-сыплются, в лицо ветрище-ураганище дует-сквозит, с ног опрокинуть норовит, сзади волны-валы бегут, того и гляди, стружок-лодочку зальют-захлестнут, на дно поволокут. Повернул голову в сторону холма, лесом густым поросшего, видит, там мулла стоит, Аллаху молится-кланяется, ни ветра, ни бури не пугается. И волны с реки до муллы не долетают, не замочат, не забрызгают.

Делать нечего Ермачку-казачку и обратиться не к кому. Набрал он в грудь воздуху поболее, ладони к щекам приложил, словно лось, затрубил: «Эй, молодец, татарский удалец! Аль не видишь, что меня буря-ураган вконец одолела, весла разломала-раскидала, утопить, жизни лишиться задумала?! Чего стоишь, молитву творишь, когда человек гибнет-погибает, на глазах пропадает!»

Мулла его услышал, с коленок встал, взад-вперед забегал заметался, руками махать принялся. Не знает, как Ермачка-казачка спасти, из беды выручить.

Тогда кричит ему атаман зычным голосом, бурю-ураган перекрикивая, перебарывая; «Эй, мулла, седая борода, чего суетишься-мечешься без пользы, без толку. Лучше кинь мне фал с горы-крутоярья да покрепче держи, глядишь и вытянешь».

Только мулла, видать, слов его не понял, руками разводит, плечами пожимает, чего ответить, не знает.

Атаман ему снова кричит-гаркает: «Фал-веревку тащи, к дереву крепи да мне кидай, из беды выручай!»

Да откуда мулле знать-ведать, что у казаков-гребцов веревка причальная фалом зовется-прозывается, издавна так называется. Он с ними сроду на судах-стругах по рекам-морям не ходил, кашицу-ушицу из общего котла-казана не едал, не хлебал, речь казацкую худо понимал. И сколь ему Ермачок-казачок не орал, не гаркал, не просил фал причальный с берега кинуть-бросить, а тот в ответ лишь кланяется да Аллаха поминает, чего делать, не знает. А Ермачку-казачку не до шуток, не до смеха, когда рядом смертная потеха. Хоть и весело жил, много по свету ходил, а ране времени помирать не хочется, душа смерти не принимает, да и сам того не желает.

Скидывает он тогда с себя кушак-пояс узорчатый, девичьими руками расшитый-разукрашенный, рвет его на полосочки, крутит из них веревочки, вяжет узлами крепкими. И получилась у него чалка-фал почти что взаправдешный. Смotal его в кольцо, размахнулся-прицелился, метнул на вершину холма и прямо мулле под ноги точнехонько попал-угодил. Тот, не будь плох, поймал фал, к деревцу покрепче привязал-примотал, Ермачку-казачку рукой машет: тяни, мол, выбирайся наверх, на кручу. Приналег атаман, поднапрягся, притянул стружок-лодочку к бережку, взобрался на вершину холма, мулле поклонился, расцеловал в обе щеки. А на память ему за помощь-спасение подарил доспех свой рыцарский, который ни пуля, ни стрела не брала, как горох отскакивала. Мулла растрогался, обрадовался, по-своему чего-то залопотал и достает сапоги-чирки легонькие. В таких чирках в реку, в болото попадешь, а воды не наберешь, так они сделаны-излажены по секрету особому.

Переждал Ермачок-казачок на высоком холме ураган-бурю, вытесал весла новые, попрощался с муллой да на другой день-денек дальше по Иртышу-реке поплыл страну Сибирь промышлять-разведывать. А мулла доспех боевой казачий до смерти хранил, всем показывал, языком цокал да рассказывал, как атаману фал бросал, из беды выручал, чирки дарил, чтоб до веку он их не сносил.

Вот и стали ту гору звать Алафеевской и до сих пор так зовут, коль в народе о ней речь ведут.

Как Иртыш с Тоболом боролись

С ручейка река начинается, с песчинок малых гора высится. В дальнем краю, на чужой земле стоят горы высокие, все снегами покрыты глубокими. Растеплится весной солнышко, разогреет снега белые, льды скрипучие, потекут-закапают капли-росаньки с валунов-камней вниз с высоких круч, меж расщелинок-трещинок на землю спускаются, в озерца голубые собираются-копятся. Жарче греет солнышко, топит снег по капельке, набирает вода силу небывалую, невиданную. Не удержать ее горам каменным, знать, расставаться пора пришла. Ревом

вода ревет, валуны впереди себя несет-катит, из темницы каменной выбирается, сыра земля под ней прогибается.

А подле самых гор на чужой земле, на китайской стороне, лежат степи широкие, цветами чудными разукрашены. Налетит-напрыгнет на них вода горная, непокорная, от свободы-волюшки слегка пьяная-разудалая, словно плугом землю ту перепашет-перероет, загогочет-рассмеется по дикому, дальше кинется. Бежит от нее зверь без оглядки, человек от беды прячется, в лесах укрывается. И нет силы такой, чтоб остановить поток речной...

Бежит-летит Иртыш-богатырь по степи широкой, лбом могучим землю роет, деревья с корнем выворачивает, кибитки пастушьи опрокидывает, телят, баранов, жеребят малых, неопытных в пучину затягивает, балуется. Нет для него в степи соперников, с кем бы силой-норовом померился, кто б в схватке выстоял, супротив пошел.

Повернет Иртыш-богатырь направо – полгоры срежет-смоет, вниз уронит: повернет налево – поля размоет, табуны конские разгонит. Попадет на пути ручеек-речушенька – под себя подомнет, всю силу ее заберет, словно и не было ее ранее. Только ветер степной, ураганы, мог с ним силой помериться, осушить до дна, воду вычерпать, по степи разность всю до капельки. Но у ветра есть куда силу деть: налетит, надуется, замутит волну, да надолго тут не задержится, уже дальше мчит, вихрем вертится.

А за нрав дурной прозван был Иртыш Землероем-рекой, таким именем, что до веку жить с ним останется, не забудется, не останется. Надоело Иртышу-Землерою по степи кружить-метаться, за табунами конскими гоняться, задор-силищу понапрасну тратить-терять, ветер догонять. Повернул на сторону полуночную-сумрачную, где океан-море разлилось-расплескалось, куда солнышко-невестушка сроду не добиралось.

Только встали на пути Иртыша-богатыря леса темные, еловые, стоят крепко-нерушимо, корнями сплелись, ветвями сцепились, не хотят чужака-озорника пропускать, разор в тайге учинять. Но Иртыш-богатырь кроме силы великой, норова необузданного еще и хитрость про запас имел-держал, сделал вид, будто в другую сторону побежал. Нашел лазейку-прогал меж елями-пеликанами, ринулся в нее ручейком слабым-махоньким, прошмыгнул ужом, напряжился напрягся, да и раскидал деревья в разные стороны, а уж потом со всей мочи-силушки навалился, сквозь тайгу с хрипом ринулся, только ветки-мохнатки затрещали, иглы зеленые в воду посыпались. Не смогла тайга-урман удержать Иртыша-богатыря, расступилась-раздвинулась, на холмы высокие от него ринулась.

А Иртышу-реке лишь того и надобно, побежал-потек по сибирской стороне, елки-сосенки неся на широкой спине, берега волнами ровняя, шалаши охотничьи вниз роняя. Бежит-летит, похохатывает, кудрями голубыми потряхивает, по сторонам озирается, все ближе к морю-океану подбирается.

Вдруг видит-глядит – рядом с ним другой великан бежит. Весь из себя чернехонек, иломтиной облепленный, в ржавых болотах силу набравший-накопивший, бежит прямехонько никуда не сворачивает.

Вот и встретились богатыри-удальцы под крутым холмом на широком лугу зеленом, уткой-птицей заселенном. Не хотят, не желают один другому дорогу уступить, вперед пропустить.

Закричал Иртыш-Землерой зычным голосом, затрубил, словно зверь раненый:

– Кто таков?! Откудова взялся-явился?! Как посмел по моей земле пробираться-прятаться, разрешения моего не спросив?!

Отвечает ему богатырь-сосед, смоляным чубом поигрывая, глазищами черными подмигивая:

– Я Тобол-Черныш, река темная-непокорная. По своей земле бегу, собираю дань с речек-ериков, ворошу землю болотную, счет веду родничкам-ключикам. Все они, как есть, должники мои давние-давнешние – речки-ручейки быстротечные.

– Поворачивай прочь, – закричал Иртыш, – не желаю слушать твои рассказы. Нет такой силы, чтоб меня сдержала-сдюжила. А не то пожалеешь, что на пути моем встретился.

Засвистел Тобол-Черныш разбойным свистом, поднял со дна ил-грязь, муть болотную, швырнул пригоршню в воды иртышские прозрачные-чистые, ослепил-замутил света лишил.

Вскипел Иртыш-богатырь от такой дерзости-коварства, отскочил было в сторону. А там холм-гора стоит, воды его плечом крутым подпирает, дальше не пускает. Уперся Иртыш в гору, распрявился во весь богатырский рост, кинулся на противника, чтоб того в землю вогнать-задавить, жизни лишить.

Но Тобол-Черныш не настолько прост оказался, в землю сырую вжался да прошел насквозь под Иртышом-драчуном, сзади выскочил, берег вспучил, ударил с кручи: грязь речную мутит-вздымает, в светлые волны бросает, тиной оплетает, вниз прижимает. Разметал Иртыш ил-песок, обхватил обидчика могучей рукой, окрутил белой волной еще чуток, малость самая – и одолеет чернявого, с земли сибирской сгонит.

Выскользнул-вывернулся из крепких рук Тобол, наутек бросился бежать-улепетывать, только пятки сверкают, сзади рябь оставляют. Долго они так бежали, воды свои мешали, пока из сил не выбились, вконец не обессилели. А тут навстречу им Обь-матушка, всем сибирским ревам родная тетушка, тихонечко бежит, никуда не спешит, ровным голосом журчит-мурлыкает, над драчунами хихикает. Спрашивает их тихо-ласково, ладошкой нежной оглаживает, ветерком прохладным обдувает-охлаживает:

– Куда бежите-спешите, богатыри удалые, силачи лихие? Али вам места-простору не хватает? Кто на драку смертную толкает? Помириться-подружиться... Чем землю понапрасну рвать, делить, лучше в любви мире жить.

Всплеснулся было Иртыш-Землерой, вскинулся мутной водой Тобол-Черныш, а разобрать-понять не могут, где чья волна, когда общие берега. А тут Обь-матушка их манит-зовет, сыплет под ноги мягкий песок. Забыли богатыри про обиду-беду, кинулись в объятия Оби-реки, чьи берега широки, края-краешка не видать, людского голоса не слышать. А она им ручки белые подставила-протянула, кудрями тряхнула, и побежали дальше, не торопясь, друг на дружку уже не сердясь. Вода не смола, брань не привет, а коль люблю, то весь белый свет. Любовь всех роднит, мир крепит.

Так Обь-река драчунов в полон взяла, за собой повела, им свое имя дала. Кабы не ее ласка, то другая б вышла сказка. Не было бы мира в Сибири, все под страхом бы жили. Кто б драчунов усмирил, миру дружбе научил? Может, и нам у них поучиться, меж собой навсегда помириться...

Как река Вагай свое прозвание получила

Лежит Сибирь, страна пребольшая, не видно ей ни конца, ни края. Кругом леса да болота, хоть год ходи, коль охота. А речушек столько, что никто не знает сколько.

Татары их раньше просто звали – «елга», да и только. А как русский мужик через Урал повалил-поехал, начал дома рубить, деревеньки ставить, пашню заводить-обустраивать, то и начали деревни-села по-своему называть, каждой речке-протоке имена давать. Русский мужик – человек серьезный, особо когда тверезый, во всем любит порядок, степенно живет, ситный хлебушек жует.

Случилось как-то одному мужику-сибиряку в дальнюю деревеньку ехать, родню повидать-проведать. А тут подходит к нему сосед, дальний сродник, спрашивает-вопрошает, куда тот едет, узнать желает:

– Далеко ль, Гаврила Фаддевич, снарядился-собрался, за вожжи взялся, кобылку запряг, на телегу шмяк. Не предложишь ли и мне рядом присесть, а вдруг и у меня какая надобность в той стороне есть?

– Да как тебе сказать-ответить, Фрол Прокопьевич, соседушка любезный, в работе-помощи полезный... Еду на горку, за дальний лесок, в чужой городок. Коль есть нужда, то садись на телегу, вдвоем веселей поведем беседу. Чай, и дорога короче станет-покажется. Бог даст, засветло доберемся, на завтра домой вернемся.

– Это куда ж мы поедем? Скажи, не тай, как есть поясни... – Фрол Прокопьевич затылок чешет-скоблит, понять норовит, никак не дойдет, куда его сосед ехать зовет.

– Да к свояку моему! Давно собирался его проведать, ягодку в лесу разведать, авось созрела, сок набрала, во вкус вошла. Тогда пора девок с полатей сгонять, лукошки брать да урожай собирать.

– Так знать бы, где твой свояк живет, мочало вьет, горе мыкает, на народ гыкает. Может, и я бы срядился, в долю напросился. А так... Дороги не знаю, собьюсь-заплутаю, пропаду не за грош, а за здорово живешь.

– Ну, Фрол Прокопьевич, чего спужался, к бабьей юбке прижался. Велика беда, в дорого с пути сбиться, чуток ошибиться. А язык на что? Ежели с ним в путь-дорожку пойдешь, то всю землю, как есть, обойдешь, коль надо, и до Москвы, и до Киева доберешься, лбом в ворота упрешься.

– Ну, ты сказал-выдумал, Гаврила Фаддеевич, не подумал, верно, как может быть скверно. Вкруг Москвы, Киева чего не ездить, и без языка дорогу найдешь, на звон колокольный сам добредешь. Там места обжитые, объезженные, дороги проезжие. Каждый камешек известен, канавка памятна, из любой речки водица на вкус знакома. Всякая ворона с плетня по имени встречает, по отчеству провожает. Куда ни глянь, сродник живет, в гости ждет, блинами привечает, бражкой взбадривает. А тут, в Сибири, народ темный, непонятливый. Сидят в лесу, молятся колесу, все деревни юртами зовут, счет дням по луне-месяцу ведут.

– Так не в том беда, что дорожка не видна, а что названий селам-деревням нет, милый сосед.

– Это ты точнехонько сказал, в самое место попал. И я так думаю-разумею про твою затею: все речки, леса, выселки назвать-обозначить давно пора, чтоб не блудить до утра. Как батюшка деток крестит, в купель опускает, имя дает, так потом его народ и зовет.

– Верно, верно, соседушка, для души беседушка. Давно пора названья те придумать-выдумать. Только мово ума одного мало, нет у меня сметки о том, видать, не быть мне ни диаконом, ни попом.

– Так давай вместе! Ум да разум надоумит сразу.

– Давай! Ты начинай, а я подсоблю-добавлю.

– Ну, к примеру, для начала кобелю твоему бестолковому имя придумаем толковое, может, зря на луну выть не будет, а то нас каждую ночь и будит.

– О чем ты, Фрол Прокопьевич, говорить желаешь, меня обижаешь? Разве то он не на луну воет-лает, а когда твоя баба в избе войну затевает? На всю улицу тебя костерит-кроет, а наш пес со страху воет. Да и имя у него всем известно, коль тебе интересно: Полкашей его назвал, чтоб волков отгонял.

– Тьфу на твою собаку, сам лезешь на драку. Скажи лучше, как корову зовут, когда из стада ведут.

– А то не знал, что зовем Пеструшка, хвост задирушка.

– А кошку как прозвали, когда в дом к себе брали?

– Ее кличем Муся, до сметанки доберуся.

– Да, видать, непростое это дело, – сосед соглашается, – придумать, кто как называется. Ладно, коль такое дело, едем, пока не стемнело. По дороге, глядишь, чего на ум придет-ляжет, само за себя скажет.

Поехали потихоньку, правят полегоньку. Проехали через лесок, взобрались на бугорок, под горку спустились, у речки очутились, пошли искать брод, где ездит честной народ. Туда

сунутся – глубоко, в ином месте топко. И речка махонькая, неглубокая да больно вязкая. С берега глянуть – комар перескочит и носа не замочит. Судили-рядили, меж собой порешили в самом узеньком месте перебраться, до другого берега побыстрей добраться. Сунулись в воду, не зная броду, да и засадили телегу так, что не съедешь никак. Дерг-хвать, да не та стать. Крепко сели посреди речки, сидят как два голубя на крыльчке. Принялись кобылку хлестать-погонять, а она – ни с места, хвостом машет, головой качает, мужичков из беды не выручает. Делать нечего, полезли в воду, тащить подводу. Пихали-толкали, животы надорвали, на бережок вылезли, отдуваются, собственной глупости удивляются.

– Надо подмогу звать, телегу из реки выручать. – Фрол Прокопьевич предлагает, сам на дорогу поглядывает.

– Так засмеют, проходу не дадут, коль узнают, – Гаврил Фаддеевич ему отвечает, – айда-ка лучше вагу покрепче в лесу найдем-вырубим да сами телегу и подыдем-выручим.

Дошли в лесок, вырубил шесток саженой в пять, едва поднять. Уперли в край телеги, навалились-натужились и мало-помалу, полегоньку-потихоньку вытолкали ее на берег-бережок под густой лесок. Лошадку досуха обтерли, по гриве потрепали, обратно домой повернули-поехал.

– Понял теперь, как речку ту зовут. – Фрол Прокопьевич пот со лба утирает, шапкой комаров отгоняет.

– Скажи, не томи, самому интересно, как зовут то проклятое место.

– Да Вагаем! Мы же не первые тут надрывались, в грязи толкались, телегу важили, из грязи налаживали. И до нас тут народ сидел, на дорогу глядел. Весь лес на ваги порубили, давно бы мост замостили.

А потом, вскорости, про их горести и про ту речку песенку сложили-придумали, петь начали:

«Коль едешь чрез Вагай, рот, гляди, не разевай. На середке как заляжешь, до утра телегу важишь...»

Про первого кузнеца сибирского и мыс Чукманский

Было то в лета давние-стародавние, когда еще человек с медведем в одной берлоге жил, а волк с зайцем дружил. Рыбы по бережку хороводы водили, на ночь в воду спать уходили. Птицы гнезда вили в облаках, солнце пряталось в горах, люди по тысяче лет проживали, сроду болезней не знали, все на одном языке говорили-гуторили, один с другим не спорили. Везде торно, всюду просторно.

Жил в Сибири народ без всяких хлопот: утром водицы изопьют, вечерком закусят корешком, а надо, так медведицу подоят, молочка ковшичек нацедят. Был тот народ приветлив да кроток, сердцем чист и прост, не спесив, не норовлив и в работе не тороплив. С соседями дружили, на ихнюю сторону зазря не ходили, жен полюбовно брали, ссор меж собой не знавали. Ни ножей, ни мечей не имели, поделки свои из дерева гнули-ладили, одежду из конопля-крапивы плели-вязали, нужды особой ни в чем не знали.

Только однажды, видать, не в добрый час объявился да в их краях поселился человек, с дальних гор каменных пришел-явился и на крутом мысу-горочке обустроился-построился. Был он кожей темен, волосом курчав, силищу имел недожинную-немереную: одной рукой зараз дерево с корнем вырывал, другой крону обламывал. Стаскал-сносил дерева со всей округи на тот мыс-горочку, запалил-поджег ярким пламенем. Много дней-ночей горел-буйствовал тот костер-займище, круг холма головешки-уголья летели-сыпались, пламя вверх вилось, до самих черных туч, словно телок матку, вылизывало-выжаривало. А как огонь-пламя унеслось-притухло, набросал в него силач-чужак камней разных диковинных, что с собой привер-приволок с черных гор из далеких мест.

И полетел-понесся с того мыса-горы перестук-перезвон. Стук-постук кругом стоит с раннего утра и до позднего вечера стучит-бренчит, звякает. Зверь от той горы-мыса бежит-прячется, птицы вокруг летят, пугаются. Люди в жилищах своих укрылись-схоронились, боятся носа показать-высунуть, голову от земли поднять, на мыс-горочку поглядеть-сунуться. Но был среди них юноша отважный-дерзостный, гордости превеликой. Никто с ним не решался на состязание-поединок выйти, силами помериться. И так тот юноша дерзостный презирал людей своего племени, что даже жилище отдельно от всех поставил, дружбу водить ни с кем не желал.

Видит он, как все люди испугались-попрятались, боятся стука-бряканья, что с горы-взгорья летит-несется, и говорит громким голосом:

– Разве не мы здешних мест хозяева? Разве не наша земля, реки, леса вокруг лежат? Чего же вы все чужака-пришельца испугались? Кто смелость в себе найдет на мыс-горочку отправиться, чужака к ответу призовет, зачем он заявился к нам, узнает-выспросит?

Молчат люди, глаз от земли не поднимают. Уж больно страшный звон-грезвон, стук-бряканье с мыса-горочки несется, ажно уши ладошками позажимали и слова сказать не решаются.

– Эх вы! Трусы презренные-малодушные! Видать, мне самому придется идти, чужака-пришельца к ответу призвать, с нашей земли прогнать. Так и сделаю. Только уговор такой, чтоб никто мне потом не перечил, слова поперек не сказал, не ослушался. Все мои приказы-указания выполнять-делать станете, то, что я велю.

Как сказал, так и сделал. Пошел напрямик на мыс-горочку на стук-бряканье, гордо голову подняв-выпрямив, твердой поступью идет без оглядки. А чем ближе подходит к костру-займищу, тем сильнее стук-перезвон звучит, искры летят, лицо, руки жгут, глаза слепят. Но дошел-добрался он до чужака-пришельца и его смело спрашивает:

– Отчего-зачем стук-звон поднял по всей нашей земле? Зачем до самого неба кострище-займище жжешь-палишь? Почему без нашего разрешения-спросу поселился-обустроился?

Поглядел-глянул на него чужак, работы своей не бросая, да и отвечает зычным голосом:

– Давно ждал-поджидал, кто первым ко мне придет, стуку-грому моего не испугается. Видать, мало среди вас храбрецов-удальцов, кто бы страх в землю зарыл, в воде утопил, набрался смелости. Затем и пришел-появился на вашей земле в дремучем краю, чтобы жизни иной учить, рассказать, как в иных краях люди живут-управляются, со страхом справляются. Научу вас, как оружием владеть-пользоваться, неприятеля бить, жизни лишать, зверье добывать, его мясо в нишу брать...

Глядит-слушает чужака гордый юноша и не замечает сам, как кровь в нем бурлит-играет, до того ту тайну узнать желает. Научил его чужой человек, как из камня-руды железо ковать-плавить, клинки-ножи готовить. Показал, как копьем можно зверя убить, стрелой птицу сбить, острогой рыбу добыть.

Год прожил на мысе-горе юноша, научился всему, чем чужак владел, а однажды в ночь подобрался-подкрался тайно к нему и всадил в грудь кинжал по рукоять самую, как тот его научил, показать успел. А потом вернулся гордый юноша к своему народу тихому-покорному и стал у них вождем-предводителем. Приказал он всем почитать его, как бога небесного, забрал к себе лучших девушек, а всех мужчин послал на войну-битву с соседями, раздав им оружие боевое-железное. Только секрет, как из камня-руды железо добывать-ковать, он никому не показывал, а сам тайно отправлялся на мыс-гору, где ковал-колдовал, огонь-кострище до небес разжигал, по наковальне стучал-брякал. Прозвал его народ Чукманом-кузнецом и боялся пуще грома небесного, подчинялся, во всем слушался.

Но только мало Чукману было тех почестей-уважения, и отковал он для себя крылья стальные-железные, чтоб небеса покорить, огонь небесный добыть, властелином всей земли сделаться. Надел-приладил их на себя, взлетел с мыса-горочки навстречу солнцу, не устращась грома-молнии. Да попала в него стрела небесная-огненная, сожгла дотла-пепла и следа не оста-

вила, в прах развеяла. А с темных гор пришел в их землю народ злой-жестокый и сибирских людей взял в полон-рабство, за своего первого кузнеца поквитались-расправились.

С тех пор на мысе-горе, что Чукманским зовут, никто не живет, не селится, зверь его стороной обходит, птица мимо летит, поскольку первую кровь там человек пролил, ею живую землю осквернил-окропил.

Как купец Сыромятников квасом торговал, свое прозвание получил

Кто в Тобольске живет да вдруг под горку пойдет, а там влево повернет, через мосток махнет, тот в аккурат к Сыромятниковскому прудку подойдет-подберется, в плотнику упрется. Ране там запруда крепкая стояла, через нее вода шумела-бежала, колесо мельничное крутила, зерно молола-дробила. А рядом с меленкой – солодовня с чанами пудовыми-лубовыми, в них пиво варили, квасок настаивали. Тот квасок-холодок, только сделай глоток, всю жизнь помнить будешь, до смерти не забудешь. Весь Тобольск квасок сыромятниковский пил-попивал, хозяина добрым словом поминал. Зато старики-то застали-видели, как тот Сыромятников пацаном начинал, на разнос кваском домашним торговал.

Да и он от того и не отказывался, не отнекивался, а любил, бывалочи, в базарный день поддевку простую надеть-накинуть, лоток с ягодами-орехами раскинуть, с малым товаром покричать-порядиться, к покупателям прицениться: «По ягоду, по клюкву, по-хорошему крупну, собрана на болоте, продана по охоте! Не горька, не сладка, а в самый раз, кому на квас, а кому про запас! Ягодки девки брали, с кочки на кочку прыгали-скакали, ноженьки заголяли, клюкву подавили, сок-сукровицу пустили. Кто ту клюкву возьмет, тот и счастье найдет! Налетай, покупай, карман подставляй!»

Народ-то уже знал, как купец Сыромятников товар свои хвалил-кричал. Тут же подбегут-налетят, раскупят задешево-задарма, кто ягоды, кто орехи, больше для потехи, чтоб перед родней-соседями похвастать-покрасоваться, как у самого Сыромятникова товар брал-покупал, на полушку прибыль выторговал. Товар, он не только ценой красен-мил, но и хозяином, что его сбыл.

А начинал он торговое дело годков с десяти. Но базарам-ярмаркам со жбаном квасным ходил, по рядам разносил, кому кружечку нальет, а кто и две возьмет, медячком-полушкой расплатится, а там и рубль, глядишь, насобирывал-принакапливал, тем и семью кормил, до дела умом и сноровкой доходил.

Бывалочи, утром ранним, затемно потянутся-поедут первые мужики-полуношники с возами, мешками, с товарами, в рогожи завернутыми-покрытыми, схороненными до поры до времени. Только ряд свой найдут-выберут, мешки на землю сымут-скидают, лоб перекрестят, молитву сотворят, святых заступников-угодников помянут, голову от земли подымут, а он, пацан с квасным жбаном, тут как тут, словно всегда рядом был, на базаре жил.

– Кваску испить, ваше степенство, не изволите? Квас добрый, сытный, что хлеб ситный. Вовнутрь сам пойдет, свое место найдет. Попробуйте испить, горло спозаранку промочить. Вам всласть, и мне не пропасть...

Ну, как откажешь-прогонишь сорванца-торговца этакого! Знамо дело, у каждого мужика на возу свой квас припасен, с собой привезен, да свой квас – про запас, а чужой завсегда сытней-слаще, пей на счастье.

– Дорог ли квасок твой, малец?

– Да задаром! По пятаку с носа, по полушке с рыла, чтоб не перекосило.

– Это как понимать-разуметь? – до мужика не сразу дойдет, куда пацан дело ведет.

– Так и разумеи, как сказано. Нос имеешь, вкус-аромат разумеешь, разберешь, сам все поймешь, во вкус войдешь, еще возьмешь. А коль рыло замести носа, то никакого с тебя, дядя, спроса. Плати полушку, гребни на просушку.

– А не дорого ли будет за пятак?

– Бери за так. Мой квас семерых от смерти спас. А вот восьмой не напился, на телеге ехал, уснул, в овраг завалился. С тех пор его не видали, слухом не слышали. Кто квасок мой не пьет, тот свой товар не продает. Точно, дядя, бери не глядя. Мой квасок не про всякий роток. Он у меня ядерный, на луну-месяц заговоренный. Кто его отхлебнет, тот за свой товар хорошую деньгу возьмет.

Мужик башкой крутит-вертит, мозгой шевелит, хоть умом туговат, да в другом тороват: «И впрямь для начала – почину разгону кручину, выложу пятачок, впереди денек, с торговли лишку возьму, авось наторгую за день поболее, коль Божья воля». Засопит, закричит, платочек с денежкой вытащит, пятачок выложит, примет кваску хваленого, на вкус ядерного.

– Не квас, а кисеице, ока силища! – Мужик крикнет, в ладошки шмякнет. – На чем таком сделанный, настоящий?

– Да он у меня с коричкой, с гвоздичкой, с лимонной корочкой, с листом мятным, для людей сладким. Счастливо, дядя, торговать, все до вечера распродать.

И ведь точно! В аккурат по его слову-уговору все и складывалось-получалось! Уже к полудню распродает мужик свой товар, доволен-радехонек, едет с базара домой веселехонек, в трактир завернет, шкалик возьмет, мальчика-квасника добрым словом помянет.

А вот с теми, кто от кваску того отказывался-отнекивался, всякое случалось: то обворуют, то лошадь уведут-подменят, а то покупатель не идет, товар не берет. Вот и пошел обычай-привычка на базаре среди мужиков с утра, спозаранку, кваску того на счастье-удачу принять, доброе слово заветное от мальчика услышать, а лишь потом торговлю начинать. И им ладно, и ему в прибыток, коль на пользу напиток.

А однажды приехал-пожаловал в Тобольск-город с-о-о-лидный купчина с десятью возами товара для нашенских мест дорогого, редкого, ранее невиданного. Сказывали, будто с самого Нижнего Новгорода привез он посуду с фарфора немецкого, ценного, для важных людей припасенного, из-за границы привезенного. И обустроился тот купчина, дюжий детина, со всеми десятью возами прямехонько посередине базару, словно царев слуга, его правая рука. Никакого ходу-проходу не стало. Но мужики смолчали, обиду от купчины того в бородах зажевали, вострым глазом поглядывают посматривают, как у него торг пойдет-сладится.

Тут к нему прямехонько-точнехонько пацан наш с квасом-кваском и подбегает-подскакивает, кружечку протягивает с приветом-улыбочкой: мол, испей, человек добрый, кваску, разгони тоску. А тот кружечку принял-взял, ко рту поднес, отхлебнул-пригубил, сморщился, словно дохлятину какую учуял-унюхал, да на землю и плесканул-вылил.

– Сырой твой квас, поганый. Не настоялся еще, силу не набрал. А ты народ дуришь-обманываешь. Пошел вон, пока целехонек, а то уши не надеру, будь радехонек.

Пацан обиду стерпел-проглотил, да голову не опустил, отвечает вежливо тому приезжему:

– Ты, дядя, пока не внакладе, зря меня не обижай, худым словом не называй, перед народом не срами, а пятачок гони.

– За что платить, коль не пил, лишь усы обмочил?

– А то не мое дело-знать за твое житье. Не знаю, как у вас, а здесь знают мой квас. Все пробовали-пивали, плохого слова не сказали.

– Ну и дурни-обалдуи. Не стану платить за сырой квас, и весь мой сказ.

– Это с чего он сырой, коль с мятой настоящий. – Малец чуть не плачет, а от своего не отступает. – Он у меня с коричкой, с гвоздичкой, с лимонной корочкой...

– Не стану платить за сырую воду! Хоть тресни! – Купчина уперся, тоже в раж вошел-разошелся, набычился.

– Так, видать, мой квас совсем не про вас. Ты, купчина-дурачина, с воды давно пьян, с квасу бесишься, за пятак повесишься!

– Ах, ты еще почтенного человека обзывать-дразнить станешь! – Купчина с воза слез-спрыгнул, на мальчика накинудся. А тот, не будь плох, плескнул ему из жбана квасом в глаза и айда наутек, как тот волчок. Купчина за ним, руки растопырив-раскинув, бежит-летит, озирается, рукавом отирается. Да разве пацана верткого-проворного догонишь-словишь, свою честь лишь уронишь. Да и местные мужики на подмогу не кинутся, а всяк норовит купцу дорогу загородить, в сторону сбить, то ножку подставят, то к возу придавят.

И пока он по всему базару за парнишкой бегал-гонялся, зазря надрывался, половину посуды дорогой-редкостной у него растащили-разграбили, кто сколь мог с собой уволок. Да еще остатки наземь сбросили, побили-растоптали, все распластали. У нас народ-то лихой, на обиду-укор памятной, поперек пойдешь и волос не найдешь. Когда купчина, запыхавшись-набегавшись, к возам вернулся, то чуток умом не тронулся. В такой убыток-разор вошел, верно, нищим по свету пошел. Городовой с околоточным заявилися, сочувствуют-кивают, да только все понимают. Где кого найдешь-сыщешь, когда все всё видали, да словно в рот воды набрали, никто ни на кого не показывает, ничего не рассказывает. Хоть космат, да не медведь, хоть черен, да не ворон. Так ни с чем тот купец и уехал-пропал, в Тобольск больше носу не совал. Что не нашего роду, не пойдет в угоду, а коль Бог накажет, то кто прикажет...

Долго потом еще вспоминали, когда из немецкой посуды щи хлебали, как купец на пацана кричал-ярился, квас сырым называл, а тот ему все про мяту толковал. Так прозвание к нему и пристагю-приклеилось, прозвали Сыромятниковым, а как стал человеком большим, то обращались с поклоном, с почтеньицем.

А дело у него с тех самых нор в гору пошло, иных обошло. Капитал свой с кваса скопил, заводик выстроил, пароходик купил. О нем по всей Сибири знали-слыхали, всегда уважали. Про него даже поговорка была сложена: мол, дел-заделий, хлопот, как у самого Сыромятникова.

Вот тот прудок в память о нем и остался.

Меж двух горок лежит, водица из него бежит-журчит, побулькивает. А вот секрета, как квас свой особый делать-настаивать, нам купец Сыромятников не завещал, не оставил. А, видать, хорош квас был, коль весь Тобольск его пил и до сих пор помнит-вспоминает, гостям рассказывает!

Про Панин бугор и Илью-пророка

Чванливых да спесивых нигде не любят, не голубят, в друзьях-сводниках не держат. Бритва хоть и остра, а кому сестра? У спесивого что кол в шею врос, потому и дерет кверху нос. Для спесивого хвала лучше дара всякого. Только спесивый дома обедает, друзей не ведает. Сатана гордился, с неба свалился, фараон гордился, в море утопился, а коль мы загордимся, куда годимся? Зато смиренье – Богу угожденье, уму просвещенье, душе спасенье, дому благословенье и людям утешенье.

Вот так деды наши по старинке жили, молодых уму-разуму впрок учили. И у нас в Сибири всяко служили, кто самому царю, а кто первому фонарю. Одни сюда по доброй воле ехали-селились, а иные по Владимирке в кандалах тащились. Всех Сибирь-матушка принимала-прощала, ситным хлебом угощала, кому без соли горбушку, кому табаку понюшку. Коль кто Богом не забыт, тот и сыт. Только ангелы с неба не просят хлеба, поп да петух, не евши, поют, а остальной народ с работы живет.

Но привезли как-то с мест дальних к нам в Сибирь бар-панов скандальных – ни пахать, ни сеять совсем не понимают. И гроша не стоят, а глядят рублем, ходят гоголем, нос кверху дерут, мужиков за людей не признают. Спрашивают их: «Откуль такие, господа дорогие? Что вашему пригожеству до нашего убожества? Поди, ехали в Париж, да наткнулись на кукиш, к нам в Тобольск завезли, да и бросили в пыли!»

А те в дорогую одежду, в парчу-бархат ряжены-выряжены, руки в бока уткнули, шапки на глаза надвинули, усища висят ажно до плеч, не поймут, о чем речь.

– Мы, – говорят, – кровей панских-дворянских, вам не чета, сермяжная простота.

– Много в вас спеси дворянской, да участь хуже крестьянской, – мужики им отвечают. – Смеялся горох, что лучше бобов, а как дождь упал, и он пропал. Коль в Сибирь попали, то забывайте, как раньше звали. Был высок каблучок, да подломился на бочок.

Пошумели-покуражились мужики над панами-барчуками, по домам разошлись, своим делом занялись. А тех расселили-развели, кого куда не на день-денек, на года горе мыкать, вину искуплять, Сибирь обживать. Носи платье, не скидывай; терпи горе, не сказывай!

Прошло время-срок, обжились-приспособились, кто как мог, паны-панове на нашей воле, на чужой доле. Кто лавку открыл, кто коровку купил. Лучше гнуться пополам, чем надвое переломиться, с бедой замиришься. Быстро слетает спесь, когда захочется поесть. Стали помаленьку строить-обустраиваться, на долгое житье настраиваться. Те, что побогаче, от других жили иначе. Дома ставили крепкие, высокие, окна не на наш манер широкие. У кого оконца из брюшины, там и жители кручинны, а у кого стеклянны, то и бары веселы. Свой уголок – свой простор. Каково в доме, таково и самому.

Не прошло и пяти годков, как выстроился цельный околоток меж гор-холмов подле речки-ручейка, где вместо мостика доска. День-деньской паны-панове сидят в своей хороме, а к вечеру-вечерку сойдутся на лужку барыни в шляпах, в лентах цветных, в платьях атласных кружевных, а господа-панове в модной обнове. У бабенок в руках зонты-зонтики, сами что белые пончики, лучиков солнечных боятся, кожейцей нежной-розовой гордятся, выступают павушкой, так бы и назвал ладушкой. Сами бары в глазища стеклом понавставляют, за собой курчавых мопсиков таскают. Нашенские же псы кудлатые в своры-стаи собьются-соберутся, с мопсиками в драку рвутся, тьяв-гав на свой устав. А бары в них камнями-шайками швыряют, от шавок своих отгоняют. Боятся спортить породу от нашего приплоту. А коль блохи псовые на мопсов нападут, то вусмерть загрызут. Походят они так по лужку, потабунятся, нигде не садятся, чтоб платьев-нарядов не измазать, не помять и айда до утра спать, другой вечерок поджидать. Их день – зевать на плетень, а наш черед и сам придет, нуждой проймет.

Так и жили паны-панове своим табором, как одним двором. На мужиков поглядывали искоса да свысока, хоть в глазах тоска.

Был среди них один совсем важный пан-господин: шейка пестиком, губки бантиком, смотрится франтиком, не ходит, а летает, глазищами сверкает. Видать, шибко высокого рода, как лопух среди огорода. Водиться-зваться ни с кем не желает, а тронешь, сам мопсом залает. Слова доброго сроду не скажет, а только фыркает-шмыркает, киснет-морщится, словно ему неможется. Такой по лесу пойдет, о березу лоб расшибет, повелит спилить: мол, не там стоит. Только слышно: «Фыр да фыр», что старый фитиль. Может, и звали его когда-то Иванычем, а у нас прозвали Фыр Фырычем. Так и звали-величали, заглазно кликали. Чего тут думать-гадать, коль этакая статья.

Вот и задумал тот Фыр Фырыч свой дом-хоромину на высоком бугре срубить-поставить, всех обставить, на горку повыше взобраться, наиглавным оказаться. Такого пусть в избу погреться-обыгаться, а он уж деток крестить следом тащит, на хозяина глаза тарашит.

Был в то время подле города крутой бугор, где сам черт бородой землю мел, – ни спуска, ни взвоза, никакого провоза. Пока вверх лезешь, весь вспотеешь, а вниз спускаешься, вконец изругаешься. Да Фыр Фырычу тому все нипочем: ходит руки калачом, мужиков-работничков

собрал-созвал, в котором месте дом ставить показал. А наше дело какое? Ни первое, ни второе. Клен да ясень – плюнь да наземь. Взяли в руки топор, поперли бревна на бугор, покрывавая, бородами помахивая, шапки-шапочки сбили на затылок, вся кровь в загривок. Пообещай мужику хорошую деньгу, он и согнется в дугу, мат, все смогу. В одно лето быстрехонько сруб срубили, венцы сложили, под крышу подвели, железом покрыли. Вышли хоромы царские, покои барские: крылечки точеные-резные, оконца кружевом расписные. А сами работнички, бородатые плотнички, сели в тенек на бревнышко, чтоб не жгло солнышко, сидят, ждут, когда им расчет принесут.

Вышел-таки к ним Фыр Фырыч на ходульных ногах, с плеткой в руках, со спесью панской, расфуфыренный, что петух голландский, сапожки на нем блеском блестят, усища к небу торчат. На мужиков глянул-зыркнул, по-своему фыркнул, стеклышко в глазище вставил, ножку на лавочку поставил, хлыстиком-плеточкой по сапожку шелк-шелк, а глядит, как на овцу волк. Спрашивает:

– Чего расселись на моем дворе, как курицы на плетне?

– Ваше благородь! Уж ты нас угодь, прикажи рассчитать, денежки подать. – Мужики шапки сняли-скинули, к нему придвинули.

– Да кто же расчет сразу дает? – он им бает-отвечает, ножкой качает. – Дом едва выстроили-сложили, а уже и денежку запросили...

– А как же иначе?! Как водится... – мужики вокруг хороводятся.

– Надобно еще посмотреть-подождать, как он будет стоять. А вдруг да упадет-рассыплется, а то вниз унесет, ветром крышу собьет. Приходите через год, коль дом до той поры доживет. Выдам расчет, кто сколь унесет. – И дверью хлоп, закрыл на засов.

Нашенские мужики хоть и простаки, а такого поворота-обману отродясь не слышали, не видывали, шапки на землю поскидывали, да и айда материть-костерить не за то, что их обмишурили-обмерили, а за то, что дураки, барскому слову поверили. И положили на дом тот страшное заклятье, вечное проклятье: «Пусть Илья-пророк нас рассудит и пана-барчука за обман погубит. Жалко нам труд рук своих, да пусть этот дом-хоромина огнем горит-польхает, дотла сгорает. Помогите нам, Илья-пророк, суд-расправу свершить, за чванство-спесь барчуку отомстить». Щепочку из осины заострили и в паз меж бревен вбили.

К вечеру того же дня натянуло-нагнало туч черных свинцовых, засверкало-забухало, полетели вниз стрелы-молнии, гвоздят-впиваются, в землю грешную вонзаются. Ветрина деревья валит-крушит, силищей народ страшит. И первой же стрелой-молнией угодило в дом-хоромину папскую, зажгло-запалило с конька до самого нижнего бревнышка. Пан-барчук в чем был, в том и выскочил: в одном сапоге, с плеткой-хлыстиком в руке. Побегал-попрыгал, ножкой подрыгал меж головешек-угольков, разбитых черепков. Покрутил усищами опаленными, в огне прокопченными, черта помянул, на огонь сплюнул. Да и поплелся в нижнем белье под горочку, мыкать горькую долюшку. А что делать, коль на всякую спесь свой закон есть.

Вот так за мужиков-простаков Илья-пророк заступился, с барином-барчуком поквитался-расплатился. А бугор с тех самых пор Паниным зовут, жилья там не ставят, внизу живут. Вот так оно бывает, кто много о себе воображает.

Коль пуще всех возгордился, глядишь, с бугра свалился, вниз покатился, низехонько опустился...

Про жар, про пар, про лог Банный

Жили когда-то два брата. Не то чтобы худо, но и не богато. У первого – жена кривая, у второго – мордой рябая. Та, что кривая, за шитьем сидит, муженьку из тулупа штаны кроит, а рябая стряпать любила, на окрошку к обеду комара крошила-шинковала, ножки на холодец оставляла.

Вот первая баба штаны к концу зимы на живинку сшила, на дратву посадила, дала мужу примерить-пощеголять, от других не отстать. Тот их натянул мехом наружу, носи и в метель, и в стужу. Всем штаны хороши-гожи, только больно на зверя стал похожий. Принялся обратно снимать, а не может, хоть до смерти ходи такой пригожий. Пришлось ножом штаны разрезать, по кусочку их снимать-стаскивать.

А рябая баба комара скрошила, в чугунок косточки сложила, понесла в ледник убрать, чтоб было чего к ужину подать. Дверью хлоп, а та на щеколду шелк, и сиди на льду, пока не найду. Вот она и обрадовалась-возрадовалась, что стряпать мужу не надо, кругом прохлада. Часок посидела, малость взопрела, к льдинке примерзла-приросла, орать начала. Мужик жену искал-кликнул, повсюду мыкал, а как не нашел, то сел за стол, за ложку взялся-ухватился, на окрошку комариную навалился, да и уснул с ложкой во рту, храпит на версту. Как проснулся, полез за едой в ледник, а баба его хват за воротник: «Зачем слопал один окрошку, мне не оставил даже крошку?»

Вот так два брата и жили, не особо тужили, не по правде, а понарошку – днем дрыхли-спали, утром ужин справляли. Ложки сжевали, половником хлебали, у кого в рот пролезет, тот и сыт, а мал роток, на другого глядит. Пропала коровка, березу подоят, молочка в сапог нацедят, пока до дома несут, все разольют. На козе воду возили, пирогами печь топили. Дождик закаплет, в поле бегут, а солнышко выглянет, в избу идут.

Лежат два брата однажды на печи, рисуют углем белые калачи, кусочек отщипнут-ухватят, пожуют, проглотят, чихнут через плечо, а как кончатся, нарисуют еще. Вот как-то младший старшего спрашивает-удивляется, в портянку сморкается:

– Скажи мне, братушка-браток, шустрый лапоток, отчего у меня болит бок девятый годок, да не знаю, которое место. Уж так чешется-болит, ажно меж ушей трещит.

– Видать, в баньке давно не был, не парился, зеленым венчиком не обмахивался. Оно на память и давит-страшает, зудом донимает, – старшой брат ему отвечает.

– А ведь верно, родненький, вечно голодненький! Как меня батюшка крестил, в купель опустил, с тех самых пор и не мылся, не парился, а глядь, и состарился.

– Правильно говоришь-понимаешь, брат младшой, шевелишь мозгой. Еще дед с бабкой, отец с маткой собирались-толковали баньку срубить-скатать, родню созвать, друг дружку отмыть-отскрести, чистоту завести. Да померли рано, видать, не успели сруб скатать.

– Так давай теперича мы зачнем, топоры возьмем, лесу навалим-ошкурим, а там поглядим, может, и на баньку хватит и чем дом подпереть останется.

– Чего спешить, народ смешить. Лес нарубить-ошкурить завсегда успеем-сладимся. Перво-наперво баб пошлем мох скрести-теревить, чтоб было чем сруб крепить.

Отправили баб своих спозаранку надрать мха большую вязанку. Сами в горенке сидят, в оконце глядят, которая раньше прибежит-явится, первой управится. Глядь, вперед рябая несется, вся трясется, жменю мха тащит, глаза тарачит; следом кривая поспешает, отдыха не знает, щепотку мха притащила, на крылечко положила, и начали они кричать, горло на братьев прочищать:

– И зачем вам баню рубить вздумалось, в башку пришло-въехало?! Без нее столь годков жили, не особо тужили, – во всю мочь орут, руками машут. – Мы слух слышали, что люди банек ране не знали, а в русской печи мылись-парились, шибко не маялись.

– Так чего стоите? Печь топите! – братья жен погоняют, одежду с себя скидывают.

Истопили бабы печь, золу выгребли, муженьков своих внутрь засунули, заслонку задвинули. Те лежат, ждут, когда их мыть начнут. Рябая баба ведро воды на них плесканула, кривая пару разиков венчиком хлестанула, а мужики как завопят-заохают: мол, за что бьете, отдыха не даете. А те еще как плесканут-жахнут кипятком с ключа, мужики из печи вон, сгоряча. Лезут, брыкаются, кулаками пихаются, орут, словно их черти дерут:

– Ой, ошпарили! Сожгли! Спалили! Видать, специально нас в печь засадили! Решили уморить, в гроб уложить!

Так они из печи рвались-выбирались, да еще бабы им подсобляли, что печь разломали, труба упала, все горшки поломала. А сами братовья в саже вымазаны-перемараны, в золе, как черт в смоле, кинулись баб ловить, уму-разуму учить, кольем потчевать. По всему двору за ними гонялись, бились, вконец уморились, и не видать, что мылись-парились, на речку отправились. А навстречу им цыган идет, ладно песенку поет. Рубаха на нем кумачовая, поддевка бархатная, штаны плисовые, сапожки яловые, глазищи черные разудалые.

– Скажи нам, цыган, ума полный карман, как нам жить-робить, баньку жаркую построить? Жить без баньки не можем, боимся, немытыми помрем.

– И вся печаль-докука? Слушайте в оба уха. Верьте цыгану, и будет все без обману. Приходите к речке завтра с утра, несите два топора, да выпить, да закусить, разьясню вам, как баньку срубить.

Приперлись братья утречком с топорами, закуска-выпивка в кузовах за плечами. А цыган их уже поджидает, ножичком вострым прутик строгают. Кузова с них снял, склал под навес, повел братьев в лес. Там указал, какие лесины валить, куда их на бережок тащить. Сам сел под кусток, заиграл во рожок, закуску-выпивку достал, цельный день сам с собой пировал. Братцы к вечеру так умаялись-упластались, в лесу и спать остались. На другой день прутся к ним жены с едой, только цыган им машет рукой: мол, сытый мужик не работник, не рубщик, не плотник. Еду у них отобрал, братьев сызнава в лес погнал. И так он их в работу впряг-втравил, что братовья едва не лишились сил, чуть не околели с голодухи, ходят, как сонные мухи. Зато баньку срубили-справили, тесом покрыли, печь-каменку поставили, ждут-пождут, когда их мыть-парить начнут. Вот цыган печь затопил, дровец-щепок подложил, да и говорит братовьям:

– Первый пар пополам. Вы, работники хреновые, головы дубовые, домой идите, чуток подождите, а как баня поспеет, жар наберет, угар спадет, тут и ваш черед. Свисну-позову на жар-пар, добрый дар.

Пошли братцы домой квелые, совсем невеселые, бухнулись на полати спать, цыганского зову ждать. День ждут, не зовет, два пождут, не идет.

Отправились сами глянуть глазами, есть ли жар, подоспел ли пар. А возле баньки табор стоит, костры палит, песни поют-пляшут, цыганки им подолами машут, к себе зовут, цыганята в горло орут. Сам главный цыган из баньки прыг-скак, кулаки в бок.

– Ой, беда-горе, мужики, верно, срубили баню не с той руки. Жар пришел, а Пар в город ушел. Как его найдем, то и вас позовем. Идите домой, ждите моего зова, когда будет готово.

Ждут братцы неделю, месяц ждут, когда Жара с Паром цыгане найдут. Скоротали годок, айда в ложок, где банька стоит-теплится, оконцем светится. А там из трубы дым валит, цыганский народ вокруг сидит, как братьев увидели, горько зарыдали:

– Горе-горькое приключилось, на нас свалилось. Жар простудился, Пар с лавки свалился, головку ударил, захворал, занемог, кто бы ему помог. Послали за доктором в город хворых лечить, только денег и нет, чем заплатить.

Ну, братья опечалились, над больными сжалились, отдали что было с собой, отправились пустые домой. Сызнава ждут-пождут, когда доктора привезут, может, Жар с Паром поправятся, тогда и они в баньку отправятся.

Народ шутил-говорил, что братья те так немытыми и живут, а лог, где банька стоит, по сию пору Банным зовут.

Кому жариться, кому париться, а кому век печалиться.

Вошка банюшку топила, блошка парилась, с полка упала, ударилась. Сверчок прибежал да всю баню разломал, тараканы бревна взяли, в речку столкали. Плывет по реке плот, а на нем медведь ревет: «Кому жару, кому пару – всех попотчую!»

Кукуй

Жил-был псарь. У псаря был царь. У царя был двор. За двором был дол. На дворе псарь собак держал. По долу царь зайцев гонял. Любил царь свежую зайчатину, а псарь все налегал на курятину. Поедет царь, бывало, на охоту, а псарь в курятник на свою работу. Хохлатку ощиpltет и в суп, наестся от пуза и под тулуп дрыхнуть-спать, царя поджидать. Царь по лугам-лесам наскочет-намается, во дворец едва живой заявляется, а в палатах сплошной храп стоит, ажно посуда на полках гремит. Пока царь зайцев травил-гонял, псарь всех кур со двора умял.

А в охоте царю не везет: то медведь, то кабан на него нападет. Сколько коней загнал, порошу сжег, а зайцев все нет, так в чем тут прок. Разбиделся царь на псаря, что держит его зазря. Велел будить, батожьем побить, да и гнать взашей, коль не ловит мышей. Взяли псаря под белы руки, намяли бока от скуки, вытолкнули с царева двора, гуляй, где хошь, не наши дела.

Псарь очухался, глаза разлепил, черным-бранным словом царя обложил, помянул батюшку, вспомнил матушку, да и прочую цареву родню, чтоб икалось им по десять раз на дню. Подсобрался-огляделся, шапку на лоб надвинул абы как да и пошел в царев кабак. А целовальник псаря сызмальства знает, как брата родного принимает-поит, угодить норовит. Для начала для почину налил вина псарю по чину, пушай разгонит печаль-кручину. Тот принял первую чару, чтоб быть здраву, за ней вторую пил, себя веселил, а там и утроил, ум устроил, а как четвертая пошла, совсем весела, а пятую пить – битым быть, чара шестая – мысль иная, седьмую пить – без ума жить, восьмую поднести – рук не отвести, за девятую принялся – с места не поднялся, а как пошла десятая, самая проклятая, – уже не веселит, на сон морит. И так пил псарь всю ночь, пока была мочь. Вино старухе ноги подымает, старику глаза протирает, а мужика, как в море, качает.

Под утро псарь, не проспавшись, до лычки надравшись, опрокинул ковш браги нутру наперекор да айда к царю на новый разговор.

– Слышь, батюшка царь, не серчай на меня за тоску-печаль. Невмоготу мне при дворе жить, при тебе псарем быть, серых зайчишек по полям гонять, собак злых на них награвлять.

– На то ты и псарь, – отвечает царь, – и отцы, и деды эдак жили встарь. Твое дело – зверя травить, мой удел – людей судить.

– Вот, за грехи дедовы-отцовы и маюсь, видать. Век бы мне энтих забот не знать, не ведать, свежей курятинкой лишь обедать...

– Ах ты, кукушкин сын, решил, что сам себе господин! Всех моих кур умял и явился с утра пьян. Повелю-скомандую тебя плеточкой попотчевать, шомполами выпороть. Забыл, где стоишь, с кем говоришь! Живым сгною! В землю вгною!

– Постой, царь-царек, зря на глотку налег. Не пойму, чего шумишь да меня все бранишь. Лучше принеси жбан вина, а то трещит голова.

Покричал-поорал царь еще маленько, малость самую, для вида, для острастки, для людской огласки, чтоб знали-понимали, как он псаря нерадивого чешет-причесывает, уму-разуму учит, за волосья дрючит, да и успокоился. Взмок, сел тихо от своего лиха. Достал жбан, что псарем ждан, пушай похмелится, чуток развеселится.

А псарь с радости жбан вина и вылил в себя до самого дна-доньшка, заиграло в глазах солнышко, морщинки разошлись, усы вверх поднялись.

– Теперь готов за службу братьяся, на охоту собираться?

Глядит на него псарь печально, головой качает отчаянно:

– Не вели казнить, снимать голову за жизнь мою развеселую. Синим огнем-пламенем горит душа, пока не спущу все до гроша, не заложу и шапку, и сапоги, а там и крест с груди. А уж как пропьюсь, авось да за ум возьмусь. Кто сегодня пьян – не велик изьян, зато как

проспится, может, вновь пригодится. Пьяный что мокрый, как высох, на все готов без лишних слов. Отпусти меня сегодня подобра-поздорову, чуть погуляю, а там явлюсь по первому зову.

– Клялся Кузьма, что не примет греха, зарекался не пить от вознесения до первого поднесения. Проваливай, кукушкин сын, на свой почин, чтоб глаза мои тебя не видали, ноги твои по двору не ступали. Сыщу себе псаря нового, толкового, негулящего, работающего.

А тот и ответить путем не может, видно, шибко тоска его гложет, царю кланяется, ичет, словно черта кличет, и боле ни гу-гу, лишь одно – ку-ку.

Вот гуляет псарь день, гуляет второй с хмельной головой. И пить горе, а не пить – вдвое, но обычай такой, ежели принял чуть, то давай по другой. Водка – вину тетка, рот дерет, как вовнутрь идет. Только вином жажды не запьешь, разве больше наживешь. На третий день упал псарь под стол, как голый мосол. Разобидился-рассердился целовальник на него, что не платит ничего, да и выволоч за дверь выгнать хмель.

Проснулся-проспался псарь во дворе, на сырой земле, стук-постук, милый друг, стучит в кабак, а его не пушают за просто так: плати деньгу-денежку за пропитое-съеденое, а коль нет, то и пошел прочь, людям голову не морочь.

Приплелся псарь обратно к царю под раннюю зарю, а его во двор не пускают, будто совсем не знают. Искал-высматривал псарь в ограде хоть щелку, да все без толку. Разбежался со всей мочи, думал, в ворота проскочит, да башкой врезался-ударился, чуть не преставился. Заорал, согнувшись в дугу, а вместо крика из него «ку-ку». Стоит, кукует, а народ думает, будто он так озорует. Тут и царь на шум-гвалт явился, на псаря устался.

– Отчего кукуешь? По чем тоскуешь? – а из того ни словечка не идет, лишь «ку-ку» и прет.

– Вишь, допился, – царь его жалеет, – и слова сказать не умеет. Ладно, помогу твоему горю, отпущу на волю, иди на все четыре стороны, куда не летают черные вороны. А я издам указ, всем целовальникам наказ, чтоб они тебя привечали, вином-брагой угощали, наливали столько, прокукуешь сколько.

Поклонился псарь, как смог, ткнулся башкой в царев сапог, закуковал пуще прежнего, понесся-побежал что есть мочи, куда глядят очи, до ближнего кабака глотнуть с устатку пивка.

И ходил он так по всей земле, по чужой стороне ни трезв, ни пьян, пустой карман, а как увидит кабак, закукует и день-деньской пирует. А через год-другой добрал он до города до Тобольска, где босиком с горы бежать скользко, а в сапогах тяжело, зато пьяным живется весело. Засел в кабак подле Никольской горы и гуляет до поры, кукует с утра до вечера, коль делать боле нечего. И мужики-тоболяки тот манер у него переняли: коль выпить захотят, то куковать начинали, а как пропьют все манатки, то и взятки гладки, выйдут во двор, вновь закукуют, по-своему затокуют.

Так и пошло прозвание за тем кабаком «Кукуй», хоть смейся, хоть горюй, а выпить не на что, то и в кабак соваться нечего. Эдак пить – только людей смешить. По-нашему как запил, так и ворота запер, а коль будешь долго куковать, то неча будет и запирать.

Вот так и живем-можем, о том вам доложим: лошадь продали, сани купили, в них добро сложили, повезли в кабак, отдали за так, все до нитки отдали, на вино поменяли, а как проспались, куковали-плакали, слезы капали. Тем и сыты, что мало биты. Горюй, не горюй, а попал в «Кукуй» – против ветра не плюй.

Про Казачий взвоз и бороды запретные

Стоит город Тобольск на горах крутых меж лесов вековых, а те холмы-горочки логамиврагами изрезаны-промыты, потом людским покрыты. Как наверх взбираться начнешь, всех богов соберешь. Где человек пройдет, там и конь поклажу везет. Вот как острог срубили-сла-

дили, то и взвоз на нижний посад копать начали. Воротную башню поставили, от лихих людешек-варнаков зыкрывали-запирали, с приезжих купцов плату взимали.

Ехал раз Митька-казак домой вечерней порой. Припозднился-загулял у кума на именинах, посидел малость у соседа на крестинах, выпил-закусил, обо всем позабыл – все казаку мало, а там и ночь на двор пала. Едет он верхом на коне вороном, песню горланит-поет, а дом свой никак не найдет.

– Вроде был где-то подъем-взвоз, да не туда меня черт занес. Водит казака лысый леший-лешак, на пакости мастак, крутит-вертит, башку дурит. Да не с тем связался, не за тою принялся! – Подхлестнул конька-воронка посильней, погнал рысью веселей. Вдруг глядь-поглядь, а перед ним ворота, плотницкая работа. На обе створки закрыты – не пролезть ужом, не перелететь соколом. Стукнул-ударил Митька-казак по створочкам, брякнул по досочкам, закричал дурным голосом:

– Кто смел-посмел супротив меня ворота поставить да закрыть накрепко?! Сколь разов тут езжал-проезжал, сроду их не было. Открывайте, казака пропускайте, а не то худо будет всем, коль осерчаю совсем!

А в ответ ему кричат стражники с дозорной башни с усмешечкой:

– Ты, казак-баламут, борода сивая, рожа спесивая, не буди народ, не тревожь людей, оставайся до утра, до солнышка. На то мы здесь воеводой поставлены снаряжены, чтоб держать, не пущать воров-татей полуночных.

– Так то я тать?! – Митька-казак заорал-заблажил куще прежнего. – Я разбойничек?! Ах вы, воротники сизорылые, чуфырлы немытые, давно не битые! Доберусь до вас, отхлещу плеточкой, кулаком сочту ребра-ребрышки, с караульных башенок поскиды-ваю! Будете помнить казака-удальца, как домой его не пущали да ворота запирали!

Соскочил Митька-казак с ворона коня, перемахнул через забор-заплот, налетел на стражников-караульщиков, покидал-пошвырял вниз на землю, посчитал кулаком все их ребрышки, разукрасил так, что родная мать не узнает, кого принимает. Растворил ворота, иди кому охота, и поехал не спеша, развеселая душа. А наутро спозараночку от воеводы главного наипервейшего заявили стрельцы-ратники, навалились на Митеньку, повязали накрепко, да и свели в острог-тюрьму при воеводском дому.

Вот вызывает Митьку-казака главный воевода, суд-расправу чинит, его выпрашивает:

– Как ты смел-сумел моего приказа послушаться, потемну по городу шляться-мыкаться, караульщиков смертно бить, самовольно открывать-распахивать воротины? За вину твою повелю всыпать сто плетей, без всяких затей, да и выслать навсегда из города, словно врага.

Вложили Митьке-казаку сто горяченьких, как велено-положено, да прочь с Тобольску-города отправили. А осталась у него соседка-любовь, молодая девка Аленушка, зазноба-сластенушка. Как вечерок придет, солнце красное за гору упадет, Митька-казак ложком-тропочкой к ней пробирается, до зорьки алой милуется.

Прознал про то воевода, наслал в засаду своего народа, чтоб Митьку-казака на месте взять да сызнова наказать. Только Митька-казак был большой мастак, спрятался-затаился, быстрой ящеркой вился, ушел в лес от воеводских слуг-неумех. Сколь казака не ловили, не искали, а взять ни разу не взяли. Остальные казаки глядели-смотрели, как их дружка-казачка ловят-промышляют, жалости не знают, да и решили-сумекали свою дорожку в город прорыть-проторить, где лишь казакам ходить. Сказано – сделано. Как удумали, так и вырешили: прорыли меж холмиков тропку узкую с нижнего посада на верхний. И себе путь-дорогу укоротили и Митьке торную дорожку открыли.

А воевода скоро за делами-заботами забыл-запамятовал про казака-своевольника, ночного разбойника. На ту пору от самого царя-батюшки сурьезный указ-наказ пришел – всем служивым людям обличье поменять, борода начисто сбрить, лицо оголить. А кто ослушается, того в острог на полный срок. Зачитали царев указ на площади, воевода главный принародно

сам себе бороду состриг-скромсал, клочки по ветру развеял. Только народ тобольский стоит, чего-то бурчит, а бороды сымать-стричь не желает, цирюльников до лица не пускает. Пуще всех казаки-удальцы осерчали-осердились, на указ царев обозлились.

– У нас бороды спокон веку в чести, нельзя их по-иноземному сечь-стригчи. И Бог Саваоф, и святые угодники бороды носили, не снимали, да и нам завещали.

Воевода нос в цареву бумагу сунул, чего-то там выискал, говорит:

– Про казаков отдельный сказ, иной указ. Вам велено заместо бороды носить усы любой длины, хоть до пуза, а вырастут, так и до пят, на ваш погляд.

– Не желаем такого сказа-указа! – Казаки орут-галдят. – Нам лишь борода в честь, а усы так и у kota есть! Кто свою бороду бреет-сымает, тот и честь с ней теряет!

Орали-спорили, долго гуторили, по домам разошлись, накрепко заперлись. Воеводе хоть плачь, а надобно царю в столицу ответ писать, гонца отправлять, о бритых бородах сообщать. А тут Митька-казак на выдумки мастак, на порог к воеводе заходит, издалека речь заводит:

– Послушай меня, воевода-князь, коль пошла не та масть, на тебя обиды не держу, дай, свое слово скажу. Никак нам, казакам, без бороды не должно жить, иначе не может и быть, служили мы испокон веку честно-справно, воевали за царя-батюшку, охраняли Сибирь-матушку. Вот и сейчас-теперь отправь нас в дальний край на Студеное море-океан дороги искать, остроги-зимовья ставить, народ некрещеный к присяге приставить, верой-правдой до смерти служить, как должно то и быть. А в столицу отпиши, мол, приказ-наказ выполнен, бороды у всех снимали, а кто в дальней земле, чужой стороне, как обратно возвратятся-придут, тогда и их подстригут.

Поскреб воевода-князь пятерней в затылке, огладил подбородок голый-бритый, ветру открытый, глаз голубой сощурил-выщурил, на Митьку-хитрована глянул, усмехнулся, про себя чертыхнулся, да и говорит-ответствует:

– А, будь по-вашему! Царь далеко, Бог высоко, с вами, казаками, свару-правеж затевать – добра не видать. Идите на Студеное море-океан, ищите дороги по всей Сибири-матушке, остроги рубите, да вовремя обо всем доносите, меха богатые в казну исправно шлите. Пока суд да дело, глядишь, и время пролетело. Может, иной указ придет, бороды вам обратно вернет.

Ушли казаки-озорники в иные земли, в неведомые края от воеводы-князя далеко, где найти их нелегко. Городки-остроги в лесах рубят-ставят, по бурным рекам на ладьях-стругах плывут, встреч солнца гребут, конец-край землицы сибирской ищут, по свету свищут, племена-народы к присяге приводят, под закон подводят. Исправно подати собирают, в город Тобольск отправляют, женам-девицам, другим молодежи при случае весточки шлют, о себе знать дают.

Много ли, мало ли годков-годигов прошло, пробежало, как с печи упало, а вернулись казаки обратно к семьям родным, к женам дорогим. С ними и Митька-казак не абы как, стал добрым малым, мужиком удалым. А девка Алена дождалась дружка милого, нравом строптивого. И пошел с ней под венец тот казак-молодец, стали жить-поживать, деток малых поджидать.

К тому времени казакам послабление вышло-пришло, что бороды им носить разрешено за всякие заслуги, для царя услуги. Вот так, кто смел, тот и съел, наперед успел.

А ложок тот, по которому Митька-казак когда-то крался-пробирался, от людей воеводских прятался, с тех пор Казачьим зовут, и многие казаки подле него живут. Если б казаки Сибирь не взяли, землицу новую не проведали, то и мы бы с вами здесь не жили. Вот как сядем в праздник за столом, их добрым словом помянем, по чарочке выпьем, еще нальем да старую песню вместе споем, как казаки Сибирь обживали, на нас оставляли.

Про речку Курдюмку, тетку Агафью и воронье тобольское

Всякая ворона своему гнезду оборона. Не смотри на птичку, а спроси про кличку. Сказывают, будто гуси криком-гоготом Рим спасли, врагов отвели. Так и у нас бывало, что ворона в рот залетала, на голове гнездо свивала, птенцов выводила, в лес уводила. А кто ворону поймает, тот и счастье потеряет, дома лишится, с жизнью простится.

Течет в Тобольске по низу горы речка, тонка, как свечка, берега зыбкие, как кисель, хлипкие. Домишки неказистые по бережку стояли, люди разные в них живали, не то чтобы с прибылью, но и себе не в убыток.

А боле всего ту речку воронье любило, артельно жило, вокруг вьются, летают, тучи крыльями разгоняют. Вот на том-то бережку, с краешку, жила тихохонько, скромнехонько тетка Агафья прозванием Дерюга, всему воронью подруга. Сама с вороною обличьем схожа – нос кочергой и смоляная рожа, а еще повадкой близка – сварлива, в делах суетлива. Дерюга, она Дерюга и есть, по делам и честь. Только воронье ту Агафью будто за свою признавало, бывало, облепит всю крышу, по забору кривому, повалившемся гроздьями сидит, по-вороньему галдит-грает, хозяйке приветы посылает. Но в огород на гряды ни одна не сядет, овощ не спортит, не склюет, хозяйское добро бережет. А Агафья из дому с клюкой как выйдет, на них зыркнет, враз притихнут-замолчат, тихохонько сидят.

Сказывали, будто та Агафья-Дерюга знатно ворожила, наговорами разными лечила. Вот соседи ее и боялись, лишний раз во двор не совались. А со временем стали они замечать-примечать ночных гостей, недобрых людей, что на двор к той Агафье шастают, калиткой брякают, в мешках чего-то несут, долгие беседы с хозяйкой ведут. И что интересно, вороны в гнездах молчат, сроду на тех гостей тайных не вскричат. То, что знает Машка, прознает и Глашка, а там и Ивашка. Говорят с уха на ухо, а слышно с угла на угол. Малое время, короткий срок, а дошло и до городских товаров-сорок. Растрещали-растрезвонили про Агафьиных гостей, от себя добавили всяких страстей, будто детей воруют да ими торгуют.

Дошло до пристава, донеслось до городничего, глядишь, и самому губернатору по ранжиру доложили-обсказали, малость от себя добавили. Губернатор мешкать не стал, снарядил команду воинскую из храбрых солдат боевых, офицеров молодых. Солдату, где б ни жить, лишь бы служить, а коль воевать, о голове не горевать. Ружья-винтовочки на плечо вскинули да на двор Агафьиным строем двинули. Перешли речку через мосток из трех досок, в грязище по уши вымазались, дальше двинулись. А тут сверху чего-то как громыхнет, кто-то как заорет, черная туча солнце застила, солдатиков тенью накрыла. То галки-вороны к небу взвились, прочь понеслись, гомон-гвалт подняли, солдат напугали. Стоят те ни живы ни мертвы, держатся за животы. Капрал с крестом на груди был впереди, а хватились, спрятался под кустом, и шапки нет на нем. Сконфузились солдатики-касатики, двинулись дальше строем, головы вверх дерут, слушают, как галки-вороны на них орут.

Встречает их Агафья-Дерюга на крыльчке с клюкой в руках на костлявых ногах:

– Чего случилось-сделалось, служивые, ребята ретивые? Али неприятель в город взошел, войну начал, нас в полон взял? Я сама на ухо туга, на глаза слепа, ничегошеньки не видала, дажесть выстрелов не слышала...

– Что было, то видели, а что будет, то увидим и тебе, тетка, покажем, не обидим, – офицерик ей отвечает, своим словом привечает. – А пока дело да суд, уж ты не обессудь, покажи свою избу, как солдат на плацу.

– И чего это тебе в моей избе делать-примечать, разрешите узнать?

– Чего не найдем, того не возьмем. Наше дело – приказ выполнять, тебя, тетка, проверять, а твое дело – дверь отворить, нас пригласить.

Делать нечего, ввела их Агафья в дом, перевернули-переворошили там все солдатики вверх дном, только не нашли ничего приметного, товару запретного. На том и ушли-отбыли, обратно поплыли. Доложили губернатору по ранжиру: мол, так и так, ничегошеньки у Агафьи Дерюги не сыскали, лишь ворон распугали, народ насмешили, так спешили. Губернатор брови свел, парик белый поправил, табакерочку к носу приставил, на офицерику глянул-поглядел и так повелел:

– Устроить ночью засаду, всех подозрительных словить, в тюрьму посадить, утром мне доложить.

Поплелись солдатики в засаду по нижнему посаду, ус на ходу жуют, под ноги плюют, тетку Агафью ругают, ворон проклинают. Дошли до речки, ступили на мост в три дощечки, а вороны тут как тут, будто их ждут: налетели со всех сторон, словно весной гроза-гром, крыльями по головам солдат бьют, на всю округу орут. Осерчал офицерик, саблю выхватил, воздух рубит-частит, команду солдатам кричит:

– В ружье! Готовсь! Пли! По тварям-чертовкам, лешего золовкам!

Солдатушки-ребятушки, brave головышки, рады стараться, по воронам палят, зарядов не жалеючи, ловко да умеючи. И часа не прошло, как разогнали чертовок без всяких уловок. Дым над речкой висит, в ушах вороний грай стоит.

После того вороньего сраженья-баталии пропала Агафья-Дерюга, воронья подруга. Видать, в иные края подалась промышлять-ворожить, добрым людям головы кружить. Пропала навсегда, словно и не было никогда.

А раз налетела буря-ураган, повыврала деревья с корнем, на землю повалила-опрокинула, гнезда вороньи порушила. Глянь, а там добра всякого напратано-сокрыто не одно корыто. Кто бы подумал, что воровской товар в вороньих гнездах лежал? Вот тебе и ворона, всем ворах оборона.

С тех пор и пошло-повелось речку ту прозывать по баталии – кар да дым, а по-нашему и вышло, Курдюмка – для ворья-ворон задумка. Так она подле горы до сих пор бежит, к Иртышу спешит. Выйди к ней вечерком, послушай ладком: о чем журчит, какие вести людям рассказать норовит.

Абрамов мост

Живет во городе Тобольске разный народ: кто железо кует, кто дым кузнечный продает. На одной улочке косы плетут, на другой лбы бреют-стригут, на речке рыбу удят, по-за речкой мясо коптят. По праздникам в храмы идут, псалмы поют, в колокола бьют, а в будний день – топоры в пень, колья нет работы, живи без заботы.

Стоял в старинные времена подле реки Иртыша царев ружейный завод, лили на нем пушечки, ковали фузеи-ружьешки. Мастера один к одному умельцы знатные, собой статные, с самой Тулы-города привезены да в Тобольске поселены. Государева служба – не кумовья дружба: с утра до вечера железо куют, молот с наковальней беседу ведут. Пушечку-пушку отлить – то не землю рыть, а ружье отковать – не под дудку плясать.

Уважают-примечают мастеров-оружейников, по железу затейников, ничем не докучают, с почтением величают, в кумовья приглашают.

Поселился рядом с их слободой над малой речкою еврейчик Абрашка, серая рубашка. Сапожную лавку открыл, разную обувь шил, кузнецов-оружейников к себе зазывал, пять коробов обещал, дверь двумя руками отворял, издали шапку срывал.

Заглянул к нему как-то Митрофан-кузнец, собой молодец, в плечах сажень косяя, кулачища, как замки от сарая. Говорит он тихонько Абрашке зычным голосом так, что вся посуда на печи подрагивает, хозяин на лавке подскакивает:

– Сшей-сметай мне, друг Абрашка, ситцевая рубашка, бродни-сапоги для моей ноги. Разочтись твердой деньги и своей рукой.

– Рад бы, Митрофанушка-мастер, сапоги сшить-стачать, да вот беда, где иглу под них взять? Мои-то все плохи-тонки, износились-обломались, одни кончики остались.

– Да как же ты шьешь, работу ведешь, когда струмент худой-порченный? – Митрофан-кузнец удивляется, на Абрашку глядит, глаз щурит. – Ладно, коль такая закавыка-печаль, выручу-помогу, новую иглу откую. Приходи завтра в обед, будет готов струмент на сто лет.

А Абрашка хитер, тот еще бобер, голыми руками не взять, не ухватить, увертлив умом, как пес хвостом. Говорит ласково, словно блеет, на языке мед, а под языком лед имеет.

– Так ты уж, Митрофанушка-мастер, золотые руки, ради такой доуки по дружбе, по знакомству сделай мне не одну иглу, а хотя б с десяток, чтоб в дому был достаток.

– Ладно, – кузнец-мастер ему, – выкую ни одну иглу, а полный комплект на двести лет. И детям хватит и внучатам останется, с работой справятся.

– Верно, верно говоришь-разумеешь! Ты ж таким делом владеешь: и коня подкуешь, и серп отобьешь. А я вот забыл спросить: кожу где брать-искать? Быка на сапоги надо под тебя покупать, шкуру с него сымать, а следом мять-скрести, кожевнику нести.

– Как скажешь, – кузнец ему, – на вот на покупку деньгу. Сто рублей! Должно хватить быка купить.

Взял Абрам денежку, спрятал скоренечко, кузнеца-мастера проводил, дверь закрыл, сел считать-вычитать, чего на те деньги можно взять.

Ночка прошла-минула, едва полудня дождался, на ружейный двор вприпрыжку помчался, а как Митрофана-мастера у ворот увидал, еще быстрее побежал. Подает тот ему иглы одна к одной, работай, не стой. Вострые иголки сами шьют, наперед руки по стежкам берут. Сроду у Абрашки таких не было ни одной, стоит сам не свой, глаз от иголок тех не оторвет, бородашкой реденькой довольный трясет. Иглы-иголки огнем горят, глаза слепят.

– Все ль по уговору, любезный друг? Скоро ли сапоги сладишь, меня обрядишь?

– Не первый сорт, да и так сойдут, коль не подведут, – сунул Абрам иглы в карман да за ворота ходу, где поболе народу.

– Стой, шельмец-хитрец. – Митрофан-мастер его хват за рукав, что твой пристав, к себе притянул, над землей приподнял, чуть подержал. – Чего не молвишь слово, когда сапоги будут готовы?

– А чего говорить? Как сошью, так и принесу...

– Беги-поспешай, работу с ленью не мешай. Недельку подожду да сам приду.

Вот своим чередом неделька проходит, Митрофан-кузнец к Абраму в гости приходит. А тою и след простыл, будто сроду здесь не жил. Ходит Митрофан месяц, ходит другой без сапог, босой, в двери стучит, Абрашку дома застать норовит. Там и весна на порог, а кузнец все без сапог.

Пошел на базар сапоги покупать, по рядам прошелся, глядь, Абрашка с приезжими мужиками толкует, иглами торгует. Митрофана увидел, закричал попросту, как пишет по холсту, а слышно за версту:

– Куда же ты пропал-подевался, совсем тебя заждался. И сапоги тебя ждут-пождут, только сами ходом не идут.

Пошли к Абраму домой, кузнец, как собака, злой, кулачища сжимает, Абрашку проучить мечтает. Выносит тот сапожки с детской ножки, Митрофану подает, сам плечиками жмет-пожмет:

– Видать, али ты вырос-подрол, али сапоги за долгий срок скукожились-подсели, малость облысели.

Кузнец с досады плюнул, Абрашке в ухо дунул:

– Я завтра приду да коль сапог не найду, то пеняй на себя, подлая душа. Гвоздь аршинный откую, да тебя к мосту и прибью!

Деваться Абрашке некуда, шкуру с быка он давно продал, а деньги в заклад отдал. На улицу вышел, двух котов словил, шкуру с них стащил, абы как выделал да за ночь сапоги стал-чал-пошил. Как Митрофан-кузнец те сапоги в руки взял, головой закачал. Всем сапоги хороши, только заместо подошвы кошачьи хвосты. Достал он гвоздь-гвоздище из-за пазухи, схватил Абрашку за шиворот да прибил к мосту, к толстому столбу, повесил того на сушку-про-сушку, народу на погляд, гляди стар и млад.

Теперь кто на мост тот ступает, про Абрашку всякий раз вспоминает: «Не лукавь, дорогой, нынче год не такой».

Речка Помаскинская

Жил бы я в Парижу, да дороги туда не вижу. Поехал бы на Афон, да грехов полон дом. И Москва-город хорош, да где денег наберешь, а выпало жить в Сибири – держи карман шире, может «авось» упадет, там «небося» найдет. У нас кабы не кабы, так было б море, не пруды.

Сибирячок-мужичок справно-ладно живет: дома из кедра кладет, крышу осиной кроет, кору в кадушке засолит, всем умастит. А каково в дому, таково и самому. Всем в доме места, хватает, дружной семье тесно не бывает. Живи себе без хлопот, пока Бог не призовет.

Добрый хозяин в старом доме живет, а про новый загодя думку ведет, копеечку откладывает, место приглядывает. Скоро ли, погода, простору для придется новый дом ладить-рубить, выше прежнего возводить. А дом срубить, не брагу цедить – и сметка нужна, и денег полная мошна.

Жил в Тобольске Кремлев-купец, сам собой удалец. Росла у него дочь – девка красна, собой весела, красоты невиданной, стати небывалой, звали ее Анютка, да не о том прибаутка. Свататься к ней с самого Питера приезжали, только ни с чем отбывали: горда была девка собой, а пуще своею красой. И папашенька ее лелеял-холил, замуж идти не неволил, а сам думку тайную имел-хранил, да дочке пока не говорил. Был у него друг-другок давний-стародавний, с кем щи одной ложкой хлебали, в дороге погибали, один другого из беды выручали. Другок тот, Помаскин Порфирий, неподалеку жывал, сын его, Ванюшка, в гимназию хаживал. Был меж купцами-дружками уговор давний: детей обвенчать, внуков вместе нянчить.

Срок пришел-подошел, когда Ванюшка Помаскин в силу вошел. Шлют сватов по хлеб-соль у Анюты Кремлевой руки просить, к себе в дом невесту уводить.

Встречает Анюта сватов в горнице, глядится в светлое зеркальце, собою любит, ни с кем не милуется, отцу-матери словечка не дает сказать-вымолвить, сама тех сватов выпрашивает:

– Откуль взялись-выискались, сваты-сватове, в лесу живете аль в поле? Граф иль князь хозяин вага, что за подарки невесте припас?

– Живет наш жених в Тобольске-городу, в собственном дому, хватит в нем места и для невесты. Давай скорей согласие свадьбу играть, гостей созывать.

– А что за дом-хоромы у жениха? Поди, изба в два окна?

– Дом не хуже других подле речки стоит, глаз веселит. Из крепкого дерева срублен, на долгий век поставлен...

– Не хочу, не желаю в обычный дом идти, хочу дворец каменный. Вот как сладит-выстроит, то и слово мое услышит-вызнает.

Помялись сваты, помыкались да несолоно хлебавши назад подались. Помаскину-отцу пожалились: мол, требует невеста каменные палаты, как у вельмож, что знатны да богаты. А иначе о свадьбе и слышать не желает, ножками сучит-топает.

Приздумался Порфирий Помаскин-купец, почесал кудряву голову, подергал за седую бороду – велик почет не живет без хлопот. Чтоб Анютке угодить, дом знатный надо возводить. Хорошо тому живется, у кого денежка ведется, а у купца сегодня прибыль идет-катится, а завтра убыль за рукав схватится. Тут или торговать, или новый дом закладывать, бабка надвое сказала, куда денежка упала. Только больно не хочется Порфирию Помаскину в обиженных ходить, сына Ваню невесты лишить. Покряхтел, покрякал, ключами побрякал, отпер сундучок, где денежку берег. Посчитал, прикинул, брови сдвинул, да и крикнул приказчика, велел сыскать на дом подрядчика, чтоб лес закупал, кирпич торговал, мужиков-работников нанимал да цены высоко не поднимал.

Пошла работа до седьмого пота: траншеи роят, стены кладут, материал разный подводами везут. Прошел годик-год, а там другой идет. Помаскин-купец совсем больной стал, дом-домина с него все жилы-соки повысосал, деньги повыбросил, а стройке конца-края не видно, шибко Порфирию Помаскину то обидно. Сын Ванюшка к тому времени гимназию одолел, сам в учителя служить пойти захотел. Сын ходит в холостяках, а отец – в долгах.

А тут сплетня-слух по городу пошел про Анюту Кремлеву, невесту Ванину, будто вовсе ее в городе и нет, давно простыл след. Говорят-рядят кумушки-сплетницы: мол, сбежала с заезжим офицериком без отцова благословения, без церковного венчания. Порфирий Помаскин как о том услышал, в тоску-печаль впал: не ест, не пьет, себя не блюдет да на второе воскресенье, в аккурат на Успение, и помер-преставился, на тот свет отправился. Остался наследник Иван, да пустой карман, и домина-хоромина, что отца угробила. Едва девять дней по батюшке справили, как повалили на двор подрядчики, кредиторы, завели разговоры: мол, велики долги у покойного, купца достойного. Пришлось Ивану расчет со всеми вести-выводить, последнюю лошаденку в уплату заложить.

Народ-соседи думали, что дом недостроенным продаст-сбудет, долго не выдюжит. Да ошиблись, обмишурились, из последних сил Иван стройку тащил, заместо отца довел дело до конца.

А там и невесту по душе нашел-сыскал, от других не отстал, – звать Лизавета, встает до рассвета, все в дому уберет-перетрет, на стол соберет-сготовит, мужа на службу проводит, сама по хозяйству верховодит.

Да только печаль в чем, что выехать со двора не на чем, и лошадь, и кошеву продали подешеву. А почтенному-степенному человеку пешком неловко идти, кудрями трясти. Лизавета-Лизонька и подсказала мужу, как делу помочь, печаль-горе превозмочь – наняла лодку-баркас, и весь сказ. Иван Порфирьевич на корме сидит важный-сурьезный, по сторонам глядит, всем поклоны дарит, а четверо гребцов, добрых молодцов, на весла налегают, лодку прямехонько направляют. Поплыли-погребли наши корабли! Весла да снасти – все в нашей власти. И обычай соблюден, и честь не замарана. Вот и стали ту речку, по которой Ивана Порфирьевича на службу водой возили, народ тобольский веселили, Помаскинской звать-величать. Как повелось, так и нам передалось.

Так-то оно бывает, что шука по небу летает, топор по воде плавает, не тонет, коль кто уронит. А коль пришла пора, что не выйти со двора, не будь лапшой, раскинь мозгой да заведи себе жену с умом, сам будешь с выигрышем!

Тырковка-Затырковка

За кем слава дурная поведется, век остается – не ототрешь, не отмоешь, в землю не зароешь. Добрая слава у порога лежит, а худая по городу бежит, знают и в Казани, что люди сказали.

Есть в Тобольске местечко дальнее, незаметное, для путного человека запретное, бырковкой зовется, недобрая слава за ним давно ведется. Ставили в той Тырковке шалашилачуги оборванцы-нищие, попрошайки известные, воры бесчестные. Днем по базару шурун-

дят, по чужим карманам молебны служат, а к вечеру тянутся каждый к своему шалашу, сползутся-соберутся, из-за добычи дерутся.

А верховодила меж ними Нюрка Кондаурка, кожаная тужурка. Атаманшей ее звали, за главную признавали. Роста Нюрка была невеликого, телом слабая, зато нрава злобного, пре-настырного. Все-то нищие воры у нее под рукой ходили, половину ворованного-грабленного Кондаурке тащили. А кто ослушается, супротив воли пойдет, враз пропадет: на реку сведут, в рогожу зашьют, с обрыва сбросят – никто не спросит.

Вышло-случилось как-то: мещанин один по имени Богдан, прозваньем Колыван, родного отца ограбил-обобрал, все из дому забрал, в кабаке утащил, с дружками пропил. Домой Богдану подаваться-возвращаться никак нельзя, разбежались и друзья. Пошел он прямехонько в Тырковку искать Нюрку-воровку. Привели его к атаманше главной, худыми делами славной, глянула та на парня: лицом красив, фигурой плечист, да и на руку, видать, не чист.

– Покажи, что можешь-умеешь, коль предо мной не сробеешь. – Она Богдану велит, проверить его норовит.

– А сырай со мной в карты, Нюра-душа, тогда и вызнешь меня. – Тот отвечает, ногой покачивает.

Сели играть, банк метать. Вечером сели, а с рассветом встали, выигрыш подсчитали. Выиграл-взял у нее Богдан Колыван все барахло краденое, воровским делом нажитое, а в придачу – серьги из ушей, кожаную тужурку с плечей. Обчистил до нитки, оставил в убытке. Нюрка Кондаурка из глаз грома-молнии сыплет-мечет, не убьет, так, того гляди, покалечит.

– Ладно, прощаю долг на первый раз, да и весь сказ, – Богдан Колыван атаманше говорит, по плечу похлопывает, – но мой уговор зато проще простого, хочу попробовать дела воровского.

Деваться Нюрке некуда, стала Богдана Колывана учить, как воровским делом жить. Через год удачливее вора в Тобольске было не сыскать: мог Богдан и коня из конюшни украсть, у пчелы мед с хоботка взять, зуб золотой у зеваки изо рта вынуть. Ходит Богдан Колыван по городу в рубахе шелковой, серебром шитой, в поддевичке знатной, атласом крытой, в кошеле денежка золотая звенит-брякает, кто его завидит-увидит, пужается, крикает. Только дай вору хоть золотую гору, а красть-воровать до скончания века не перестанет, от дела своего не отстанет. Богдану Колывану все мало, с каждым днем, бывало, больше хочется иметь, чтоб вконец разбогатеть. Вот говорит он однажды Нюрке Кондаурке:

– Чем малым делом ходить-промышлять, не лучше ли будет поразбойничать? Айда на перевоз, возьмем сразу добра воз.

Нюрка было отнекиваться-отказываться, да уговорил-уломал ее Богдан, своими посулами, разными разностями раздразнил, сна-покоя лишил.

Выбрали они ночь самую воровскую-темную, взяли ножи кривые разбойные, да и отправились к ближайшему взвозу, через Иртыш-реку перевозу. Стали под горой у кручи ждать, когда кто в город поспешит-поедет на одинокой телеге. Долго так ждали-таились, наконец услышали: колеса скрипят, уздечка брякает, видать, едет кто-то совсем близехонько. Выпрыгнули на дорогу, ножи кривые выхватили, седока на месте закололи-зарезали да с возу сбросили, в реку столкнули. Нюрка Кондаурка успела с шеи у него крест срезать да у себя припрятать. Стали телегу шупать-осматривать, на мешки наткнулись, доверху полные. Обрадовались, вскрыли-вспорили, а в них одна клюква спелая, крупная, надавишь – сок из-под пальца брызнет-побежит струйкой кровавой, на цвет алой. Хороша ягодка, да много ль за нее возьмешь, не разбогатеешь...

Взревел Богдан Колыван громким голосом, принялся ягоду крушить, на землю бросать, ногами топтать, ярость-злобу на ней вымещать.

– Зря, – Нюрка ему говорит, – человека загубили, понапрасну клюкву рассыпали.

Вернулись к себе в шалаш-лачугу, тут Нюрка достает крест нательный серебряный, что с мужика срезала, к огню подносит, разглядывает. А Богдан Кольван его как увидал, за голову руками схватился, не говорит, а чего-то мычит:

– То ж крест отца моего родного! Как я дошел до такого! Вовек теперь не буду прощен, к мукам адским приговорен!

На другой день спозаранку пошел на родную улочку себя проверить, родню проведать. Только до дома отцова добежал, как у ворот ту самую телегу увидал, а на ней лежат мешки клюквенные, в темноте им самим порезанные, подавленные. Видать, лошадь сама домой пришла, дорогу нашла. Вскричал Богдан дурным голосом, поседел на глазах волосом, назад побежал да в реку с крутого берега бросился-кинулся. Сам на себя руки наложил, жизни лишил. Да и Нюрку Кондаурку никто с тех пор не видал, ничего про нее не слышал. Может, в иные края подалась, а может, чем иным занялась. А Тырковка-Затырковка долго еще стояла, воров-разбойников принимала, им кров давала, добрых людей пугала. Коль какая кража или иная пропажа, то так и говорили-ладили: «Ищи в Тырковке у Нюрки-воровки в логу запрятанное, накрепко затыренное». Так оно в жизни и бывает: один спину гнет-ломает, а вор ремесла не водит, промысел держит – кошельки режет, добро чужое продает да тем и живет. Только сколь веревочке ни виться, ни тянуться, а придет время к земле пригнуться, в узелок завяжется, на том свете все всплывет-скажется. Грешному путь вначале широк, да после тесен. Что на этом свете запасешь, то и с собой понесешь.

Таков наш сказ без всяких прикрас.

Про пушки царские и богатыря Ваню Силина

Будешь жить просто – проживешь лет сто, а станешь с людьми кочевряться – раньше времени в могилу уляжешься. Так ране деды живали и нам завещали. Всяко слово умно, да не каждому то знать дано.

Жил когда-то в городе Питере в светлом тереме царь Павел, перед иными государями сам себя славил, всем в пример ставил. Имел росток небольшой, нос курносой. Генералов своих палкой бивал, а в раж войдет, за чубы таскал. Соседние государи с ним дружбу водили, на дочерях Павлушиных сыновей женили, слали подарки возами, портрет его вешали под образами. Русские генералы по иным странам, как по своему двору, разъезжали, обиды нигде не встречали. Только был один король аглицкий, как петух, задиристый, ростом длиннющий, собой вреднющий, волосом рыж, носом, что твой жулан, сиз. Невзлюбил он нашего Павлушу, надул иным государям сплетен-рассказней в королевские уши. Ну, знамо дело, те императору нашему донесли-передали, все ему обсказали да от себя малость добавили.

Как Павлуша о том услышал, на него чуть паралич не напал: на паркет грохнулся, ножками сучит, кулачками стучит, велит кликать генералов главных, воинов славных.

Окатали Павлушу водицей святой, посадили на трон царской, в одну руку дали скипетр, в другую – державу по законному праву, сиди, правь нам на славу. Генералы как в залу вошли, так и увидели: император на троне сидит, аж весь дрожит, носом изо всей мочи сопит. Испужались генералы боевые-славные гнева царского-державного, в спинах склонились, шибко смутились, глаза поднять боятся, как бы без голов не остаться. А он им говорит-приказывает, пальчиком в окошко указывает:

– Почему-отчего, генералы боевые, рыцари удалые, по домам сидите, врага не крушите? Вашего императора дурным словом костерят-ругают, на весь мир обзывают, а вы бабыими подолами укрылись, по углам забились! Чем такую обиду от рыжего-пыжего аглицкого короля терпеть, лучше сразу помереть.

Генералы, знамо дело, на такие слова обижаться стали, закрутили плешивыми головами, щеки надули-расфуфырили, плечами задвигали.

– Не пристало нам обидные слова-речи слушать, – самый старший из них говорит-отвечает, орденами звенит-качает, – наше дело кровь за государя проливать, а не сплетни собирать. Скажи лучше, государь-владыка, в чем закавыка, мигом сабельки свои вынем-вытащим, из врага душу вытряхнем, на просушку вывесим.

Павлуша державу под трон кинул, брови грозно надвинул, да и сурьезно так говорит, на генералов во все глаза глядит:

– Желая аглицкому королю войну объявить, морду ему собственноручно набить, честь обратно свою воротить.

Смутились генералы боевые, сробели, слегка вспотели.

– То никак нельзя, государь, наш надежа-царь, поскольку король тот сидит за морем студеным далеконько-далеко, подобраться к нему будет нелегко, труднехонько, не дойдут туда пешком наши солдаты, прости, коль в чем виноваты.

– Как так? – Царь Павел удивился, на генералов грозно воззрился. – Значит, можно королю ихнему, шуту рыжему, надо мной безнаказанно смеяться-тешиться, нести разную око-лесицу? А вы способа не найдете и нос ему не утрете? Не знаете, как шибче вдарить да фингалов наставить?

– Знаю, государь, способ, как аглицкому королю сделать морду козью, чтоб оскоминой скулы свело, на душе стало невесело. – Казачий атаман Платов вперед шагнул, генералов других чуть подвинул. – Есть богатая страна, называется Индия. Богатств там столько, никто не ведает сколько. Аглицкий король давно уж ту Индию к рукам прибрал, под себя подобрал. Ежели мы ее у него отберем, то нос королю рыжему-пыжему крепко утрем.

– Далеко ли та Индия-страна лежит? – император Павел генералов спрашивает.

– За пустынными землями, за высокими горами снежными.

– Ничего, удалыцы-казачки по всему свету промышляли, всякие страны видали. – Император Павел ручкой махнул, легонько зевнул и велел атаману Платову на Дон скакать, казачье войско в поход собирать.

– Все исполним, император-царь, людей православных государь, – не приходилось, хоть самому видеть не доводилось, будто есть в Индии зверь чудной, как гора большой, прозывается слон, с длинным хоботом, росту великого, такого не достанешь пикою. А мои казаки хоть и лихи, да со слоном воевать нам не с руки. Надо бы и пушки собрать-снарядить, чтоб ядром каленым слона повалить.

– Правда твоя, тот зверь не для копья, – император говорит, бровки хмурит, – будут тебе пушки, будут и ядра согласно наряда. Велите с уральских заводов сколь надо пушек взять да по рекам сплавливать, напрямиком в Индию-страну казакам на подмогу, на выручку.

С тем и ускакал атаман Платов на Дон-реку, на родную сторону казаков поднимать, в дальний поход выступать. А с заводов уральских, вотчин демидовских пять сотен пушек взяли да по реке отправили. Везли те пушки по воде, везли посуху, пока не доехали до Тобольску, где стали караван большой-пребольшой снаряжать, царского указа ждать-поджидать. Пока суд да дело, и зима приспела, ударил батюшка-мороз, караван речной к берегу примерз. А по весне из Петербурга весть привезли, что императора Павлушеньку в спальенке мертвым нашли. Присягнул народ Александру-царю, новому государю. Тот с королем аглицким воевать не решился, на мир-дружбу с ним согласился. Казачков обратно с полдороги вернули, чтоб в Индию не удули. Велели им жить покуда в мире, пока новую войну не объявили.

Все бы ладно, коль вышло складно. Да про пушки, в Тобольск свезенные, на берегу сваленные, за делами государственными, видать, забыли, новому государю о том не доложили. Брошены пушки новехонькие на берегу, не стрелявши ни разочка по врагу. И дела нет до них никому никакого, коль нет хозяина толкового.

А жил на ту пору в Тобольске у Абрамова моста Ваня Силин, душа проста. В городе богатырь известный, завсегда в драке честный, – один против десятерых выходил, всех на кулачках

крушил. А коль у реки жил, то рыбку удить любил. Бывает, отправится-снарядится в канун недели, на пятницу, на Иртыш-реку рыбки добыть, отца с матерью ухой-ушицей угостить. Да только силы одной рыбаку мало, чтоб рыбка клевала. Обрато пустой как есть бредет, квелого чебака на кукане несет, рыбью хитрость всю ругает, что ловиться та не желает. Зацепит ногой невзначай-ненароком за пушку цареву, что лежит на бережку под боком, взъярится-рассердится, за ствол руками уцепится, с места сдвинет, приподнимет, поднатужится, на плечи взвалит-взгромоздит, за собой потащит. До ближнего моста-мосточка донесет, под ноги швырнет и айда домой на ночной покой.

Вот утром рано-ранехонько мужик через мост на телеге едет скорехонько, на базар правит, спешит да на пушку и налетит. Давай ее ворочать-тащить, да одному не сдюжить. То тебе не охапка дров, когда весу в той пушке под сто пудов. Тут народ разный собирается, над мужиком насмешается. Потешатся-попялятся, опосля сжалются, кликнут Ванюшу в помощь-подмогу, разгородить дорогу. А с мужика, понятно, пяточок на опохмел возьмут, за здоровьице Ванюшино выпьют.

Так и жил без забот-хлопот Ваня Силин, народ тешил, коль просили. Да вскоре губернатор о его проказах узнал, пушки к дому своему свести приказал, а Ванюшу в кутузку закрыть пострашал.

Только Ваня Силин недолго и прожил после того, сгинул ни из-за чего. Смерть, она расплохом берет, боле срока положенного жить не дает. Пospорил Ваня с мужиками пристанскими, грузчиками ломовыми, на четверть вина, что выпьет до дна, а после с якорем на спине через Иртыш-реку переплывет, на тот берег на спине якорь свезет. Ну, привязали ему якорек-двухпудовик на закорки возле самой холки, он и погреб-поплыл, уже на середине был, да судорогой ногу свело, на дно вместе с якорем и утянуло. Два раза молоду не быть, а смерти не отбыть. Не зря говорили-баяли старики: мол, как начнешь в чем себя проявлять, то супротив ветра не устоять, недолго голову потерять.

А еще народ судачил-болтал: мол, царь Павел не просто на паркет упал, а шибко спешил, недолго и жил. Добра была голова, да, слава Богу, что земля прибрала.

Как царев бомбардир-солдат шлюз на речке построил

Кабы не ветер да не холод, то и дома бы не строили. Кабы не реки да ручьи, так бы посуху ездили, не сворачивали. И все-то так случается, что не по-нашему хотению получается.

Стоит город Тобольск на реке, при большой воде. Плывут к нему струги-барочки, везут товар с верховья, тянут бечеву бурлаки с понизовья. Куплей да продажей и торг стоит, людей кормит. Много купцов в Тобольске живет, каждый свой торг ведет. Дома ставят добрые, пятистенные, на два жилья, с флигелечками. Рядом склады-лабазы, доверху товарами полные, под завязочку забитые, на замки пудовые закрытые. Кто как торг ведет, тот так и живет, чем торгует, тем и владеет.

С утра купцы на берег бегут, струги-барочки ждут, подводы наготове держат. Как судабаржи к пристани подойдут, грузчики-артельщики мостки от борта к причалу кладут, мешки-кули на плечи берут, бегом таскают, на ломовиков-возчиков товар сгружают. А те к складам-амбарам правят-везут, к приказчикам купеческим товар доставляют, сызнова с возов сгружают, на добрые запоры запирают. Все бы хорошо-ладно, да то нескладно, что сараи-амбары от реки чуть не на две версты. Пока купец товары сгрузит-сочтет, и день уйдет. А день для купца летней порой что твой золотой, жалко терять, задарма менять.

Ну вот, собрались как-то купцы-богачи в клубе своем за чаем-чайком животы пополосать, о делах потолковать. Выпили стаканов по двадцать с лишком с сахарком, с мягким блинком, разопрели-распарились и в спор вдарились.

– Кабы сделать нам речки малые поглубже, чтоб по ним плавать на судах груженных можно было, к самим амбарам подплывать, товар сгружать, я б ста рублей не пожалел, кто б то дело одолел, – самый старший из них Семен Тренин говорит, после чая тяжело дышит.

– Это все речки почистить, мусор-ил свезти – и жизни нашей не хватит, детям останется, – другие вздыхают, платками лбы промокают.

– А есть у меня на примете мужик головастый-башкастый именем Клим, бывший солдат-бомбардир. В тридцати трех баталиях был, чуть голову не сложил, да царь его на побывку отпустил, когда ядром ногу оторвало по самый корешок, до туловища с вершок, именитый купец Сумкин про царева бомбардира, солдата служивого, всем рассказал, да и того позвал.

Входит в купецкий клуб Клим-бомбардир на одной ноге своей, на второй – березовой, на голове картуз солдатский, на груди крест Георгиевский. Купцам поклонился, на лавке с краешка устроился, поднесли ему рюмочку, малую закусточку, выпил-подмахнул и глазом не моргнул.

– Слышали мы, Клим-бомбардир, будто ты во многих странах бывал, всякого повидал. Может, и нам подскажешь-удружишь, дело предложишь, как нам быть-поступить – все речки малые вычистить-выправить, чтоб по ним струги-барки проводить-сплавлять, к самим амбарам подплывать.

– Налейте, ваши степенства, для души блаженства еще одну шкалик-рюмочку, чтоб башка лучше работала, слово быстрее высказывало.

Опрокинул вторую, водку крепкую, блинчиком закусил, купцов хитро спросил:

– А коль я вам, купцам дорогим, людям уважаемым, секрет открою, как дело повернуть, сладить, провоз по речкам наладить. Какая мне с того польза-выгода в руки пойдет под ваш зачет?

– По такому случаю-почину с каждого купчины по сотне рублей соберем, тебе поднесем. Живи-пользуйся, пей-гуляй, нас вспоминай.

– Так-то оно так, да ведь и я не простак. Со всего свету не соберешь цвету, за ветром в поле не угонишься, быстрехонько оскоромишься. Деньги тем хороши, что каждый день нужны, а коль выйдут-кончатся, обратно не воротятся. А по моему уговору, без всякого спору, будет так: с каждой барки пятак, хоть в город идет, хоть обратно плывет.

Купцы-то и засмеялись, обрадовались – Клим-бомбардир, одноногий солдат, меняет тыщу на пятак! По рукам ударили, еще шкалик-рюмочку цареву бомбардиру поставили, глаза разули, уши развесили, ждут-пождут, когда тот выдаст секрет, даст совет, как речки вычистить и по ним на стругах-барочках груженных плавать.

– Дайте мне сроку недельку, на пропой копейку, с каждого двора подводу да дюжину рабочего народу. Через семь ден покажу, как ваши посудины к амбарам водой провожу.

Дали Климу-бомбардиру, чего он просил-хотел, чтоб вдоволь имел, разошлись купцы по домам ночевать, исполненья уговора ждать. Проходит неделя, как один час, а большего Господь не припас. Помчали-повалили купцы ватагой-гурьбой, всей толпой на речки смотреть, уговор разуметь. Речки-то, речки-то не узнать, не признать: стали полные, полноводные, вверх поднялись, вширь разлились. Того и гляди, мосты подымут-снесут, за собой упрут. Народ тобольский из домов выбежал, дивится на половодье речное, что бывает лишь весной. Кинулись к устью, а там – плотина саженой на пять, верха не видать, воду подперла, стоит твердо. А посередке той плотины – двери-створочки из леса доброго-крепкого срублены-сотворены, наглухо затворены. И сам Клим-бомбардир их встречает, рукою показывает:

– Милости прошу, купцы-братушки, давайте посылайте ваши струги-барочки на мой шлюз-плотину, всех пропущу, товары по амбарам развезу.

– А как же воду держать, обратно вверх поднимать, коль под струг-барку воротца откроешь, воду спустишь? – Семен Тренин его спрашивает, бровь топорщит, в задумку не верит.

– Как обратно шлюз закроем, чуть пождем, когда будет подъем, вода под плотнику сама подойдет-подыметя, тут и новая струг-барка двинется.

– Да, – говорят купцы, торговой сотни молодцы, – всякое мы видали, о многом слышали, а такого шлюза-подшлюза видеть не приходилось. Ай да Клим, царев бомбардир, удружил-удивил, всем угодил.

С тех пор стали струги-барочки по всем малым тобольским речкам плавать, товары ко всем складам-амбарам доставлять, купцов радовать. А Клим-бомбардир до самой смерти при том шлюзе службу нес-держал, с каждой барочки по пятаку медному брал на житье-бытье свое малое. Так и стали с тех пор устье речки Курдюмки Подшлюзами звать-называть, бомбардира-выдумщика добром вспоминать.

Архиерейская роща

Чудо жить тому, кому послал Бог суму. Убогий человек, где умирался, там и примостился, утром встал, перекрестился, и то же житье, опять за вытье. У нищего-убогого две полы, да и те голы, скотины – таракан да жуколица, посуды – крест да пуговица, одежи – мешок да рядно. А кто гол да наг, и перед Богом прав. Значит, так от Бога указано-велено, чтоб и нищий среди нас жил-водился, за богатых молился.

В старые времена, бывало, в Тобольске нищего люда довольно живало. По домам ходили, кусок хлеба просили. А боле всего тех убогих в архиерейском дворе привечали, задарма угощали. Их подле храмов собиралось столько, что никто и не знал сколько. Возле крылечка архиерейского стоят-ждут, когда им медный грошик подадут. На праздник большой-престольный на деревьях от птиц черно, а на земле – от убогих серо. Выйдет владыка на крылечко, нищий люд благословит, добрым словом одарит, а на Светлое Воскресение и похристуется с каждым, не побрезгует духом смрадным.

Назначили-прислали как-то на Тобольскую епархию владыку Владимира, человека милостивого, в молитве усердного, в жизни примерного. Он каждого калеку-нищего по имени помнил-знал, издали примечал, грехи прощал. Служка особый за ним поднос-блюдо с монетой мелкой носил, владыка собственноручно денежки убогим дарил.

Стал как-то владыка Владимир интересоваться-узнавать, где те нищие-убогие в холоду стужу ночуют-обитают, а службы ему на то отвечают:

– Знамо дело где... Кто под забором, кто под мостом, а иные – под плакучим кустом.

– А почему в богадельни не идут, там не живут?

– Так их всего на город две и те полнехоньки, под завязку забиты и для иных закрыты.

Опечалился владыка от известия такого безрадостного, стал думать-гадать, как людям убогим помогать.

А за городом на то время рощица березовая была, к дому архиерейскому приписанная. Местечко славное, грибное, всеми любимое. И сам владыка любил туда наезжать-наведываться, от дел каждодневных отдохнуть, по лесу погулять, грибочки белые пособирать. Долго он думал и решил в местах тех, близ города, церковку заложить, а рядышком приют для сирых-убогих выстроить.

Сказано – сделано. Разобрали стены старые кремлевские, кирпич от них в рощицу завезли-сложили, канавы-траншеи вырыли, ждут, когда владыка самолично приедет строительство освятить, первый камень заложить. А тот занемог, как на грех, из покоев своих который день не выходит, службу в домашней часовне отводит. Все-то нищие городские, как о болезни владыки узнали, как один на двор к нему прибежали, на коленки стали, Бога молят-просят, чтоб преосвященному здоровье даровал, боль унял.

И полегчало владыке на короткий срок, велел заложить возок, поехал в рощу за город, отслужил молебен честь по чести, а как стал первый камень класть-опускать, то панагия с него

на землю и упала, в ров легла, цепью золотой поблескивая. Он и говорит со вздохом, тихонько служкам своим преданным:

– Знать, Господь место указал-определил, где мне скоро лежать, вечным сном почивать...

Так оно и вышло-случилось. Не прожил владыка Владимир и месяца, как лихоманка его скрутила, жизни лишила. И похоронили-положили его в той рощице при алтаре им заложенной церковки. Нищие-убогие на похороны все, как есть, до одного собрались-съехались, горько рыдали, заступника своего в последний путь провожали. В теплую пору летнюю на могилке у владыки свечи теплились-горели, рядом нищие-калеки сидели, добрым словом его поминали, перед Богом прославляли.

А рощицу ту березовую, где владыку схоронили, Архиерейской народ прозвал и долго еще там грибки брал-собирал. Так и живет мир крещеный: ноги босы, мешок холщовый, под одним окном выпросит, под другим съест, хозяина добром помянет, дальше Господа славить пойдет.

Рентерея Тобольская

Не то мудрено, что переговорено, а что недоговорено. Что было, видели деды, что будет, увидят внуки, не помрут со скуки. Так всегда на Руси было-велось, нам передалось: дед лес заготавливает, с реки во двор таскает, сын рубит-строит, дом возводит, а внук в нем живет, хозяйством правит, строение подновляет. Где бы русский мужик ни бывал, а про топор не забывал – во всех делах он ему помощник, инструмент главный, всегда исправный. И в Сибирь как пришли, взялись за топоры: избы из леса доброго срубили, печи сложили, живут да на черта плюют-посмеиваются, жизни своей радуются. Да только черт не спит, не дремлет, рядом бегаёт, меж людьми шмыгает, ищет, чем бы им покруче насолить, тихой жизни лишить.

И вот как-то в худой год, кроме прочих хлопот, пришла горе-печаль на стольный город Тобольск, начался пожар с избышки малой, перекинулся на соседнюю, а там пошло пласть-мести, едва успевали образа из дома вынести. Был-стоял город, осталось черное пожараще, смрадное пепелище, не уцелело ни единого домика. Только недолго мужики-сибиряки грустили, свои топоры наострили, лесу навалили, да и дома сызнава выстроили. Вновь город стоит, глаз радуёт, душу веселит, базарами шумит, гостей встречает – всех привечает.

Только разве долго без горя-беды проживешь? И шагу не ступишь да о черте вспомнишь, а там сызнава напасть, от нечистого пакость: пошли пожары один за другим, как сор за веником: горят дома, горят храмы, государевы амбары. Супротив ветра не надуешься, тулупом не намашешься. Всех беда уравнила, печали нагнала. Стали за рекой землянки копать, скарб свой туда стаскивать. А куда деваться? Коль пришла беда, отворяй ворота, начинай с конца, не прячь лица.

Долго ли, коротко ли тоболяки в таком страхе жили, совсем о радости позабыли. Да вот случилось приехать в город новому губернатору – Матвею Петровичу князю Гагарину – наипервейшему другу самого царя Петра, куму бравого Александра Меншикова. Он по улочкам тобольским прошелся, на дома-лачужки поглядел, чуть поморщился, да и кликнул инженера-грамотея иноземного, шведского.

– Хочу построить новый дворец для своего житья-бытья, в Сибири пребывания, чтоб был он велик да светел, отовсюду приметен, на высокой горе, при моем дворе. Составь план-чертеж да завтра мне принесешь.

Швед-иноземец к себе обратно побежал, до утра чертеж писал-рисовал, утром несет князю напоказ под светлый глаз. Глядел князь на чертеж тот, глядел, ничего не уразумел: то криво, это косо, где дверь, где окно – у шведа все одно. Бросил тот план-чертеж, в клочки порвал, инженера шведского взашей прогнал.

– Сыскать мне умельца-мастера, – помощникам своим объявил-приказал, – чтоб дворец по моему хотению-разумению построил-выстроил, всем на загляденье, для души веселье. Коль сыщется молодец такой, будет мне верным слугой, денег отсыплю без счета для его расчета.

Жил на ту пору в Тобольске сын боярский Семен Ремезов, дивный умелец, изограф знатный, на всю Сибирь делами известный, собой человек честный. Объявили ему губернаторскую волю, приводят к князю Гагарину для беседы-разговору по строительству уговору. Выслушал боярский сын Семен Ремезов, чего губернатор-князь желает-хочет, о чем хлопочет, да и отвечает степенно, без робости, словно с ровней говорит, хоть перед ним сам князь стоит:

– Давно я о том думал-гадал, себя проверял, чертежи чертил-прикидывал, где поставить палаты каменные, огню неподвластные. И вот чего выходит-получается, как мне соображается...

Достает тут Семен Ремезов план-чертеж, куда он все строения каменные нанес, – не город, а сказка на князя глядит-смотрит, узорьем стен поигрывает, бойничками подмигивает. И не верится, что простой самоучка чертеж чертил, верно все изобразил.

– Занятно, мудрено, хитро начерчено. – Князь пальцем по чертежу водит, лоб морщит, сам себе поддакивает: – Так, так... Знатный город-кремль выходит-получается, – глядит, улыбается. – А это что? – Князь палец задержал, меж двух гор указал.

– То у меня перо случайно из рук выпало-упало, на чертеже кляксу сделало, а я гляжу, красиво выходит-получается, коль две горы палатой каменной соединяются.

– А ведь точно, – князь ему, – быть по-твоему. Будем в той каменной палате ясачный сбор крепко хранить-беречь, чтоб пожар не смог его достать, сжечь. И название ей есть – рентерея – от огня затея.

– А внизу ее ворота сотворим, поверху часовенку выстроим, – Семен Ремезов добавляет, на князя поглядывает.

Вот так по указу-приказу князя Гагарина, по чертежу Семена Ремезова начали каменный город-кремль строить-возводить, чтоб огня пищи лишить, людей не зорить, без опаски жить. А меж двумя горами-холмами каменные палаты соорудили-возвели, рентереей, хитрой затеей, нарекли, назвали, на удивленье-загляденье всем выстроили. Сколь по свету не ездил, не ищи, а второй такой не найти. Красиво, ладно ее Семен Ульянович придумал-выдумал, в нужном месте поставил, о себе память оставил. Только вот жалко: часовенку наверху не выстроили, дело начатое не доделали. Да чего уж теперь говорить, старые дела ворошить. Губернатора-то, Матвея Петровича, вскоре из Тобольска в железзах увезли да в столице жизни лишили, несмотря на заслуги прошлые. Не успел он с Семеном Ремезовым за чертеж-работу его, как было обещано, счесться-рассчитаться, деньги по уговору выдать-выплатить. Долго Ремезов царю писал, обещанной платы ждал, да, видно, так и не дождался, а от болезней разных преставился. Только кремль-город так и стоит, всем душу веселит, да и нам радоваться велит.

Старый Кремль (детская сказка)

Жил-был Кремль. Стоял он на высокой горе при широкой реке, много лет стоял, оборону держал, врагов пужал. Но пришел срок, и он состарился, дряхлым сделался, совсем немощным. Нет у него ни друзей, ни сродственников, не с кем слово сказать, поделиться-попечалиться, кто б его пожалел, добрым словом обогрел.

И вот решил он по миру пойти-странствовать, поискать своих родичей. Вместе завсегда легче и беду любую пережить-выдюжить. Да только где их найдешь-сыщешь, своих родичей? Думал Кремль, думал, да ничего не придумал, только еще больше загрустил-заскучал.

А тут бегут-спешат мимо две девочки-невелички, мышинные косички. Одну зовут Таня, другую – Аня. Вот Кремль их и спрашивает:

– Скажите мне, девочки, малые припевочки, где моя родня на свете живет, кто меня в гости к себе ждет?

Таня с Аней было растерялись, его слов испугались, за руки взялись, друг к дружке прижались и отвечают:

– А ты, дедушка Кремль, о какой родне спрашиваешь, знать желаешь?

– Как о какой? О самой прямой. Не один же я на свете живу, век мыкаю. Должен еще кто-то быть в родне со мной, на меня похожий, обличьем схожий.

Переглянулись Таня с Аней, плечиками пожали, косичками помахали:

– Извини, дедушка Кремль, нам то неведомо. Спросим в школе учительницу, а потом придем, тебе обо всем расскажем. Ты уж нас подожди, никуда не уходи.

– Ладно, – старый Кремль отвечает, тяжело вздыхает, – подожду, коль придете, мою родню найдете.

Побежали девочки в школу, спрашивают учительницу:

– Скажите, Марья Ивановна, а есть у нашего Кремля родственники?

Учительница сразу не поняла, о чем девочки спрашивают, а потом и говорит:

– А как же! Есть у нашего Кремля родственники и в Москве, и в Новгороде, и во Пскове...

Да всех городов не упомнишь, где кремль есть.

– Вон как далеко, в Москве, – Таня говорит.

– Как же он туда доберется? – Аня спрашивает.

– А давайте, – Марья Ивановна предлагает, – завтра всем классом к нашему Кремлю в гости пойдем, там все приберем, деревья посадим, травку выполем. Может, не так грустно Кремлю одному будет стоять-горевать.

Так и сделали-поступили. Пришли всем классом, принесли с собой саженцы, возле башен кремлевских елочки посадили, их водой полили, граблями старую траву убрали-выскребли, скамеечки во дворе новой краской выкрасили.

Глянь, а Кремль похорошел, заулыбался, стоит довольнехонек-радехонек, что ребята за ним присматривают, привечают, грязь-мусор убирают.

Когда деревья подросли-вытянулись, мальчики скворечники сделали-выстругали, на ветки развесили. Прилетели птицы из теплых краев, поселились в ребячьих скворечниках, песни ноют, щебечут, солнцу весеннему радуются. Вот тогда Кремль птах перелетных и спрашивает:

– Кто из вас в тех городах бывал, на меня похожий Кремль видал?

Защебетали-затараторили птички-невелички, стали дедушке Кремлю обо всем рассказывать-пересказывать, где они бывали, что видали. Тот слушает, колоколами своими чуть позванивает. Все лето жили в скворечнях птички-невелички, старый Кремль рассказами тешили. А осень пришла, собрались они на юг, в теплые края, вот тогда и говорит им Кремль старый слово прощальное:

– Летите-спешите, от морозов лютых убегайте, птенцов спасайте. А будете через города пролетать, где мои родичи живут, службу несут, от меня им поклон передайте, из Тобольска весточку подайте.

Попрощались пичуги с Кремлем, последний раз ему песенку пропели-прочирикали, полетели в теплые края от зимы студеной спастись-хорониться. А на следующую весну обратно вернулись, старому Кремлю поклоны принесли от дальних и ближних родственников. Веселей Кремлю стало, что он свою родню сыскал-выискал, стал он дальше свою службу нести и нас привечать-радовать.

Сибирские сказы про разные проказы

Колокольные кони

Коль через всю Сибирь-матушку пешком пойдешь, и через год не дойдешь. А запряжешь тройку лихую, по всем статьям удалую, – и пошли скакать, версты считать, домчат, куда хошь, коль лоб не разобьешь.

Только мало кто нынче знает-вспоминает, что в ранешние времена по всему Сибирскому тракту лошадей породы особой держали, по перегонам гнали, ни за что не продавали, какие б деньги ни давали. Та порода сибирская долго подбиралась-ладились, к дорогам нашим приспособлялась. Про то дедам известно и нам интересно.

...А началось все в двенадцатом году, когда по шапке дали французу. Тогда со всей Сибири солдатусшек собрали, на войну услали, остались по городам службу нести калеки отставные, старики больные.

Губернатор о ту пору в Тобольске никчемный был, знать, где-то начальству не угодил, в Сибирь к нам и отправили, на должность поставили. Был он то ли из немцев, а может, из иных иноземцев, одно слово – ни Богу свечка, ни черту кочерга, и вся недолга.

Выдалась в тот год зима стылая-студеная, донельзя ядреная. Ворона с одного дома на другой пока перелетает, окоченеет и камнем на землю падает. Да и люди лишний раз носа на улицу не высунут, все к печкам льнут, домашнюю работу ведут.

Вот как-то ночью губернатор-немец на пуховой перине спит, во сне храпит, пузыри пускает, о теплых краях мечтает. Вдруг окна в доме зазвенели, чашки-тарелки полетели, он с постели скок, глаза в потолок, слышит, никак в городе стреляют, народ пугают. Губернатор с испуга заорал, денщика позвал:

– А ну, живо к воротам городским сбегай-сгоняй, в чем там дело, разужнай. Неужто неприятель в Сибирь пробрался-прокрался, штурмом город берет, на стены прет.

Денщик и сам ни жив ни мертв, шапку хватить и к воротам бежать. Пока губернатор умывался-одевался, тот уже живой ногой обратно примчался, докладывает по ранжиру начальнику-командиру:

– Так и так, ваше высокородь, прорвался неприятель у городских ворот!

– Да кто такие? Уж не французы ли?!

– Не могу знать, чего отвечать. Может, француз, а может, татарин или калмык на лошади сидит...

– А много ли верховых?

– Да всего четыре или пять. Не мог сосчитать.

– Вот дубина. – Губернатор на него, выскочил на крыльцо.

А по площади перед дворцом кони скачут, копытами бьют, того и гляди, ворота сшибут, в щепы разнесут. Тут отставной солдат-караульщик к нему подбегает, на коней указывает.

– Ваше высокородь, глянь, чего степняки учудили-наделали... Ночью на нас напали, стену городскую разломали, в город конные кинулись, по улицам скакать ринулись. Мы по ним из пушки для остратки пальнули, а они все одно удули...

– Кто смел-посмел по городу без моей команды скакать, честной народ с постели поднимать?

– Губернатор с крылечка закричал-заблажил, крепким словом степняков обложил.

– Ой, батька атаман, прости-извини, ошибка вышла, – косоглазый табунщик к нему на сером коньке подскакивает, шапку снимает, перед ним голову низко склоняет, – не хотели беды, да так вышло-случилось, не по нашей воле получилось. Наш хан Аблай послал царю

русскому подарок дорогой, не постоял за ценой, – табун коней степных, скакунов вороных. Сабли не боятся, ружейного выстрела не пугаются, а начни из пушки палить-стрелять, под нее на выстрел кидаются. Таких коней ни у одного государя на земле нет, и прости за совет: шли их скорей на войну, не поздоровится врагу.

«Вот так хан удружил, экий подарок царю-государю отвалил», – немец-губернатор подумал, погонщиков отблагодарил, чем мог отдал. Сыскал людей знающих, в конях понимающих, отрядил гнать табун в армию, сдать командованию. Там, в армии, коньков степных сибирским казакам вручили, француза воевать поручили, а как Париж взяли, Наполеонишку повоевали, то и возвратились казачки обратно на степных конях, что были с ними в боях. А тут, в Сибири, коньков ямщикам поручили гоньбу держать, коньков боевых пользоваться. Вот тут-то ямщики и подивились, чему коньки те на войне обучились.

Едет, бывалочи, ямщик на тройке тех коньков степных, до половины пути одолеет, легонечко трусит, неспешно правит. Как вдруг от ближнего села колокол ударит-зазвонит, к обедне мирян пригласит. И что тут с коньками сотворится-сделается, словом не опишешь, коль сам не увидишь: удила закусили, головы назад откинули, понеслись-полетели вскачь, нет сил их сдержать. Поспешают, словно добрый монах на исповедь, пока до самой колокольни не доскачут, а уж там сморятся, остановятся.

Ямщики дано думали-гадали, что с коньками делается, а однажды Сибирским трактом офицер проезжал и коней тех боевых признал. Обнял их, расплакался да ямщику и говорит-объясняет, слезы платком утирает:

– Они же к выстрелам-пальбе специально приучены. На неприятеля сами бежали-неслись, нигде не прятались. Про них сам Кутузов знал, за храбрость их уважал, в дело жаркое первыми отправлял. Вот и на колокольный звон, где бы ни был он, со всей мочи бегут, сколько могут, со стрельбой пушечной его путают.

Дал тот офицер ямщику сто рублей, велел кормить-холить, в работу коньков боевых не вольить. Мол, свое отслужили-отвоевали, врага с родной земли прогнали. Вот с тех коней и пошла порода сибирская, богатырская.

Хомут

Идет Яшка Федоркин по базару, с одной ноги на другую переступает, красным девкам моргает-помигивает, кудрями рыжими потряхивает-поигрывает. Легкий ветерок налетает, синюю рубаху на нем раздувает, а сапоги – не лапотки, не чирки, Яшку сами ведут, пыль базарную метут.

На шею себе Яшка хомут надел-приладил для пущего смеха, для людей потеха. По бокам хомута бубенцы-звонцы навешаны-прицеплены, на ярком солнышке огнем горят-сверкают, встречным людям лучики посыпают-слепят, на каждый шаг звенят, всех веселят.

Яшка Федоркин – мужичошка никчемный-непутевый, зато нравом веселый. Час назад на базар пришел весь пустой, карман с дырой. Сел с солдатом в карты играть, а как начал сдавать, то пять тузов себе сдал, мелочовку солдату вырешил. Была денежка ваша, да стала наша, лучше начать с выигрыша, чтоб не бояться проигрыша. И обчистил-обобрал Яшка служивого по первое число, чтоб знал наше ремесло. Солдат не стерпел, отыграться решил, сапоги скинул, на кон поставил, взял карту одну, потянул другую и в ключья порвал-искромсал, сызнова проиграл. Побрел хмурый, босой, слава Богу, что не зимой.

А Яшке сапоги не больно и нужны, когда размер не тот, да и подметка отстаёт. Пошел с выигранными сапогами по базарным рядам:

– Кто возьмет?! Задешево отдам!

А тут один старик хомут продает, да никто его не берет. Увидел сапоги, впрямь как с его ноги:

– Айда, малый, махнемся-сменяемся: ты мне сапога отдаешь, а хомут мой себе берешь.

– На кой мне твой хомут, когда моих коней волки стерегут, кости-косточки под кустами белеют, подковы в речке ржавеют.

– Так не век же тебе без коня жить, пора другого заводить. Был бы хомут, а кони сами прибегут.

Подумал Яшка, покочевряжился для виду-важности, да и махнул со стариком сапоги на хомут, разошлись оба довольные, люди вольные, что один другого облапошил-объегорил, ловко обспорил.

Хлопнул Яшка по хомуту ладошками – ничего хомут, почти новый, незапаренный, клешни не поломаны, супонь крепкая. К такому хомуту да бубенцы, не было б ему цены! Глядь, а девка одна как раз, словно на Яшкин заказ, бубенцы продает и недорого берет.

– Сколь просишь, девица-краса, серые глаза?

– А сколь дашь, за столь и соглашусь, ничуть не обижусь. Моя цена, твой спрос, за то не дают в нос.

– Отчего так дорого?

– Так весь базар обойдешь, а дешевле не найдешь. С нашими бубенчиками тень-тень-теререньчиками и сам не заметишь, как до Москвы доедешь. Дорога с бубенчиками-бубенцами супротив прежней в два раза короче выходит-кажется, как маслице на хлеб под полозья ложится.

Яшке и хомут тот нужен, как мокрому лужа, а бубенцы и вдвое, да коль дело такое, то начат цену сбивать, себя показывать:

– Хошь, красавица, фокус-покус покажу – сам себя за нос укушу?!

– Да не может такого быть, чтоб зубами кто мог свой нос укусить!

– А спорим на бубенцы?

– Давай! Сам себя за нос кусай!

Изловчился Яшка, скукожился, нос вниз подвернул, за самый кончик зубами и ущипнул. Девка хохочет, рада: «Держи пару бубенцов – твоя награда!» Он ее в щечку чмок, да и дале побег вприпрыжку, в припляс, что пришел его час.

Ходил-бродил, кругами кружил, так и не придумал, чего еще учудить-выдумать, на что свой хомут поменять-выменять, какую еще причуду выкинуть. А навстречу ему кум Григорий идет, свою песню ведет и не то чтобы пьян, но чуть ужаленный, изнутри водочкой ошпаренный.

– Привет, кум-куманек! К кому идешь на огонек?

– Иду ищу того, кому делать нечего. С утра один пью, за воротник лью. Одному ж пить – людей смешить, а вдарим вдвоем – за семерых возьмем.

– Правда твоя, кум Гришка, пьяная отрыжка. Не пристало нам душу жечь от черных дум.

Пора рюмашечку-другую опрокинуть, тоску подвинуть. Вишь, каков хомут, что новое коромысло, надо бы обнову водочкой sprysнуть, в картишки перекинуться-переброситься, авось еще захочется.

– Так ты старый долг не вернул, не изжил, со мной не счелся, а уже о новом мечтаешь-тешишься, сдуру бесишься! Ай да Яшка, синяя рубашка! Суй тебя в печь, засовывай в воду, никакого приплodu.

– Ты, кум, не бери на ум, что другим досталось, думай, чтоб тебе осталось. Все мы живем долгами, едим щи с пирогами. Разочтусь со старым, займу снова – и будь здоровый.

Обнялись, в кабак отправились, друзей встретили и их приветили. Да так загуляли-загудели, что совсем обалдели: был Яшка с барышом, а остался голышом. Только хомут на нем висит-побрякивает, бляшками медными посверкивает.

– Ставь и хомут в заклад, показывай, кто чем богат, пропьем и его, коль боле нет ничего. – Кум Григорий ему говорит-предлагает, да только Яшка головой мотает. Жаль хомут, а вдруг

сгодится-выручит, когда где нужда придет, вылезет. Может, не ровен час, и лошаденкой обзаведется, с долгами разочтется.

Вывалились из кабака всей гурьбой, большой толпой на солнце, на улочку, как солда тушки на побудочку. Думают-гадают, по сторонам поглядывают, ищут, как бы веселье продолжить, чего бы еще вытворить, в чем свою дурь-удаль выказать. Смотрят, телега без коня стоит, а в ней пьяный татарин спит, лежит, открытым ртом мух глотает, до самой земли слюни пускает.

– А не свести ли нам дружка вниз с бугорка?! – кум Григорий вопрошает, хитро поглядывает. – Загоним телегу в ил-трясину да посреди речки и оставим. Он как проснется, испужается, начнет шайтана поминать, телегу на берег вызволять, мы ему поможем-удружим, а потом деньгу-денежку на опохмел и вытрясем.

Все и обрадовались затее той, погоняй, не стой. Коль пошло крутом веселье, не вспоминай про похмелье, авось мимо пройдет, нас не найдет.

Прицепили-приделали Яшкин хомут к оглоблям, супонь затянули, Яшку вместо коренника в середину всунули, покатали телегу к горке крутой на Никольский взвоз под самый откос.

Разогнали что есть дури-мочи телегу на полный ход, стеганули Яшку прутом по круглой заднице и стоят на горке, ржут, глядят, как дело сладится, хлопают себя по ляжкам, пальцами тычут на упряжку.

А Яшке не до смеха. Несется с горы бегом, почти кувырком, боится остановиться, под телегу свалиться. Коль она по нему проедет-пройдет, то и костей не соберет. Бубенцы звоном звонят, телега сзади коваными ободьями по камням стучит-громыхает, искры из мостовой высекает, прохожих пугает. Орет Яшка со страху благим матом, дурным голосом, не бежит, а летит чудной иноходью. Только пьяный татарин как спал, так и спит, ничего не ведает, видать, с Аллахом во сне беседует, башкой о доски шишки набивает, пузыри-слюни пуще прежнего пускает.

Не успел Яшка и глазом моргнуть, как с горы-взвоза вместе с телегой сбежал-спустился, нигде не свалился, ни разу не оступился. А там и мост-мосток через малую речку, рукой подать, чуток проскакать.

Да случилось о ту самую пору богатому купцу Плеханову пианино дочке на возу везти, через тот мосток ехать-править, чтоб подарок домой в срок доставить. Не успел купец о чем худом подумать-спечалиться, как Яшка телегой на него наскочил, пианино с воза сбил, в речку свалил. Плеханов-купец как был молодец, в воду бульк кулем, и пианино на нем. А Яшку с телегой в другую сторону отбросило-мотнуло, с моста столкнуло. Плавает он с хомутом на шее, что твой гусь, зови, не отзовусь. Купец с-под пианины выбрался, воздуха глотнул, тину выплюнул, заорал-заголосил, будто его водяной за пятку укусил:

– Засужу! В тюрьме сгною! Скотина! Деревенская дурачина! Спортил инструмент, которому цены нет! За всю твою поганую жизнь таких денег сроду тебе, уроду, не собрать, не скопить, чтоб мне заплатить!

Дружки Яшкины с горки спустились-сбежали, за веревки ухватили, пианино на мосток подняли-вытащили, воду из него вылили, по клавишам брякнули – играет-пиликает, купец довольнехонек, рядом прыгает. Ничегошеньки тому пианину с речной воды не будет, не станется, лишь чище глянется.

Стали телегу с татаринком вытаскивать, на крутой бережок выкатывать. И телега цела на все четыре колеса, и хомут на месте, а татарина нет, словно никогда и не было. Звали-кричали, не откликается. Пошарили по дну палкой и вмиг нащупали-выловили, как судака под жабры, на сухое местечко вытащили. Он как спал, так и спит, глаза к небу уставя, рот раскрыв, только не дышит уже. Знать, водка была хороша, коль скорехонько отошла душа.

Татарина родня схоронила, на своем кладбище в землю зарыла-положила, а Яшку в управу полицейскую забрали, долго держали, судить хотели за убийство-смерть. Да тут как раз

солдат на войну набирали, его в полк гренадерский отдали. Засунул он этак голову по дури-глупости в солдатский хомут и весь тут. Через полгода письмо пришло из полка – мол, убило Яшку Федоркина, и вся недолга. В первом бою пуля шальная в лоб попала, и Яшки не стало. Схоронили его в чистом поле на чужой стороне-сторонушке, где не поют наши соловушки. Где могилка та, никто не ведает, из родни, из друзей не попроведует. Вот так, наденешь на шею чужой хомут, а черти башку вмиг оторвут, на тот свет сволокут-утащат, поминай их чаще.

Репа

Народ у нас в Сибири упрямый, чудной, из себя спорной. Ты к нему концом, а он кольцом: ты кольцом, а он концом. С таким спорить, что по лесу с бороной ездить. Вот и вышел как-то среди тоболяков-спорщиков случай один забавный, людям памятный.

Завел купец Ершов лавку чудную, ненашенскую, с прозванием заковыристым – «Колониальные товары» и иные тары-бары. Дом сам красного кирпича, а витрины, почем зря, чуть не в пять аршин, из стекла чистого, на солнышке лучатся, издали поблескивают-играют, честной народ зазывают. А внутри развесил купец фрукту редкую-диковинную, тобольским народом не пробованную. Кто мимо идет, рот до ушей дерет, языком цокает, губами шлепает, а товар не покупает, коль ту фрукту-овощ не знает. Купцу хоть ты тресни на ровном месте! В такой убыток вошел, что с салом хохол, – деньгу вложил, а прибыль не вырубил.

Думал-гадал, как ему быть, чем горю пособить, да и выписал неизвестно откуда этакое чудо: парня черного-чернющего, собой страшнющего, рода африканского, арапа басурманского. Волос у него на голове кудряв, а мордой, что чугунок печной, черняв. Прозвали арапа того Ванюша, а чтоб не бил баклуши, посадили его меж витрины вместо картины и, чтоб людей завлекать, разрешили фрукту заморскую без счета лопать. В тот же день и народ поперповалил, едва витрины стеклянные не побил. Стоят, глаза таращат, глядят, как арапчонок ест-жует, овощ-фрукту в рот сует. Пришлось городского звать-приглашать, чтоб в свисток дул-посвистывал, народец дурной отпугивал, а то еще витрины побьют, товар порастащат. Вот тут и пошла торговля-торг купцу на радость, соседям на зависть! В неделю раскупили-расхватили, чего в подвалах год держали. Ершов на радости арапчонку купил шляпку-шапчонку да халат новый подарил, за стол рядом с собой посадил. И дальше бы тот Ваня-африканыч в Тобольске жил, у купца меж витрин сживал, да случай вышел иной другой стороной.

Как-то под вечер-вечерок, когда день пошел на убыток, заявляются в лавку ершовскую два соседа-купца – дюжих молодца такого же звания-сословия: Прокопий Володимиров да Ефим Шевырин, а за ними вслед другой сосед – исправник Накоряков, ноги на раскоряку. И все трое под хмельком навеселе, в бравом настроении. Ввалились без приглашения-спросу, арапчонка щелк по носу и айда с порога шуметь-орать, купца Ершова увещевать:

– И как тебе, соседюшка-мироедушка, не совестно народ дурить, всем мозги крутить?! Поймал в степи калмыка, а может, тунгуса приبلудного задарма взял, ваксой сапожной ему морду вымазал да вместо арапа африканского выставил. Надул всем в уши свои баклуши! Доишь шибко, да молоко жидко!

– Давай сюда энтого чертеняку, – Володимиров шумит, кулаком об стол стучит, – мы его быстрехонько в баню сведем, ваксу ототрем, людям глаза разуем!

А хитрюга Ершов на все готов. Недаром, не зазря каменную лавку под собой держал, место бойкое-базарное никому не уступал. Черный глаз прищурил-сузил, да и говорит-ответствует:

– Коль желаете спор, то слушайте мой уговор. Согласный я африканца своего, которого вы за калмыка-тунгуса приняли, в баньку отпустить, поскрести, попарить, на полке пожарить. Коль отмоее мужика добела, до самой самости, то с меня берите, чего хотите. Обещаюсь семь ден, цельную неделю, вас троих кормить-поить, в расход входить, пред всем миром виниться-

каяться, чего не случается. Но коль промашка у вас выйдет-случится, то придется вам, любезным купцам, заместо африканыча в витринах на людей пялиться-скалиться, народ зазывать, «милости просим» кричать. Ровнехонько семь ден у меня в услужении пробудете на жалованье-довольствии, кои своему африканычу плачу-выдаю разными фруктами, редкими продуктами.

– Годится! – те орут спьяну, не замечая изъяну, на своем стоят, уступать не хотят. – Уж мы того калмычонка-чертенка ототрем-отмоем, спор выпорим, тебя, соседушка, в полный разор выставим, из подвалов товар вынесем! Попадешь, как куренок в щи, а с нас за то не взыщи.

Вдарили по рукам при поручителях-свидетелях, кликнули африканца Ваню, да и поперли того в баню. Пока шли-мешкали, по дороге за ними следом еще с десятков человек увязалось-примазалось на спектаклю даровую поглядеть-поглазеть, что станется, узреть. Ввалились толпой всей в баню городскую, одежды поскидывали, банщика кликнули, велели ему принести мочалку самую твердую, грубую, которой кирпичи-камни скребут-драят, налет-плесень счищают, да поддать парка до верхнего полка. Затащили африканыча в парную, взяли мочалку заскорую и айда парить-потчевать, кипятком окатывать, бока, спину скрести, чтоб кожу белую на свет вывести. А тот, видать, в русской баньке сроду не бывал, пару нашего отродясь не знавал, испужался, брыкаться принялся, визжит-орет, рыдает, богов своих на помощь призывает, бельмами лупает, зубищами клацает.

Только мужики уже в раж вошли, не остановить, не унять, арапчонка у них не отнять. Показалось, будто бы малость-чутьочку побелел африканыч, мочалкой-вехоткой еще пуще наяривают-скребут, того и гляди, с живого кожу сдерут.

– Тащи кирпич красный каленый, самый ядреный! – Володимиров орет, роздыху не дает.

– Мы счас его, как самовар медный, отчистим-отблестим, весь деготь сымем-смоем, истинный цвет откроем!

Как до кирпича дело дошло, начал африканыч драться-кусаться, царапаться-брыкаться, чистильщикам своим губы в кровь поразбивал, бороды повыщипал, а Накорякова чуть носа не лишил. Тот не утерпел, да и трахнул африканыча по курчавой башке каленым кирпичом, чтоб знал, что почем. Да тут Ершов в парилку влетел-вскочил, арапчонка с полка стащил – полуживого, ошпаренного, вдрызг измочаленного, не дал до конца кожу содрать, свою правоту купцам доказать.

– Ну, – говорит, – съели-скушали?! Хоть пятнышко белое на шкуре у него выскоблили?! Эх вы, дурни-ироды, сами себя довели до беды!

– Глянь-ка, погляди, а ладошки у него совсем розовые, – Володимиров говорит, пальцем тычет, на ладошки показывает.

– Курячи мозги, дурьи головы! Да они у него отродясь розовехоньки, увидели б, коль были трезвехоньки. А теперь, коль проспорили, сами себя объегорили, утречком спозаранку милости просим к нам в лавочку. В витринах моих покрасуйтесь, меж собой помилуйтесь, потешите народ честной своей новизной.

Утром Володимиров с Шевыриным на колясочке рессорной, рысаком запряженной, явились, перед Ершовым-купцом повинились, запросили мировую, согласны на отступную. Привезли в подарок Ершову для замирения, для полного согласия золотые часы-луковку, что весят на пуговку, немецкой работы-выделки, красоты невиданной. Простил их Ершов, часы принял и всегда их при себе держал, всем показывал. А в народе прознали, как купцы африканца скребли-парили, долго в них пальцами тыкали-показывали.

– Плохо, видать, скребли, худопарили! – смеялись люди, зубы скалили.

А африканыча тогда, после дела банного, чуть живого принесли-приволокли, ледяной водой окатывали, квасом хлебным отпаивали, едва выходили. И надо же такому выйти-случиться на ту пору, что заморские фрукты-овощи в лавке ершовской все вышли-кончились. Решили малого русской овощью кормить-потчевать: морковкой, свеколкой, редькой, репою.

Вот он с голодухи и приналег-накинулся на сырую репу вместо хлеба. Сидит в витрине и с утра до вечера ее лопают-уминают, глазищами черными сверкает. Да не пошла впрок ему овощ русская, – газы в животе собрались-скопились, волчком внутри закрутились, а как их вон выпустить-вывести, никто и не знает, не понимает, кто чего предлагает. Пока за доктором бегали-звали, газы те африканыча и доконали. Богу душу отдал, лишь месяц в витрине всего простоял. Была репка сладка, да кишка тонка. Кого Бог накажет, тот сам помрет: а иного, любя, приборет.

Закопали-схоронили африканыча на краю погоста-кладбища, возле самого бережка, где шумит река, в сторонке от христиан, коль по вере был басурман. А вместо креста кол березовый вкопали, чтоб могилку узнавали.

Не прошло и дня, как шутник объявиться-сыскался, над могилкой той надругался: насадил на кол репу с ботвой, издали глянешь – голова головой. Ну, уберут-снимут ту репу, выбросят в реку, а он сызнава, ночью, что ли, придет, репу новую на кол воткнет. Мужики наши не будь просты, засели у бережка в кусты, скараулили того шутника, споймали, все ему обсказали да самому репу и отличили-начистили до малой сукровицы, шути дальше на здоровьице. У нас смех с весельем завсегда водится, сроду не переводится. Да одному от него смешно, а другому почему-то тошно.

Тюремная цыганочка

Много про Тобольскую тюрьму-централ всяких рассказней-страхов сказывают: и про убийства, и про побеги да подкопы, и иные случаи рассказывают. Русский народ без поверий не живет. А тюрьма наша тем и знаменита, что для любого открыта. Хоть воля велика, да тюрьма крепка, каков грех такова и расправа, сиди по праву, а как срок придет, стражник дверь отпрет. Только не всякому в казенном доме на гнилой соломе жить-поживать, чужие щи хлебать хочется-может, как бы выйти вон, все тревожится. Неволя и в поле тягостна, а в тюрьме вдвое пакостна. Находились смельчаки, кому так жить не с руки, из-под запора бежали, и стены высокие их не держали.

Вот и про танцора тюремного до сих пор в народе слух живет-держится, послушайте и вы, может, и вам поверится.

...Уж как судьбой велено-задумано, то по жизни и выполнено: иному пир пировать, а другому на нарах на каторге до седых волос штаны протирать. А коль в России живешь, то и суму найдешь, через тюрьму непременно пройдешь, сколь не зарекайся, не отказывайся. Богу виднее, где человеку жить спорнее...

Сидел как-то в тобольском централе вор-бродяга Лященко Иван, то ли за кражу иль за иной обман. У кого душа в грехах, тому и быть в батогах, сиди да кайся, поумнеть старайся. Не впервой на тюремные харчи-баланду он угодил, да, знать, шишек мало еще набил. Был он собой красив, хоть нравом спесив, обличьем приметен, среди прочих дерзостью заметен. Такого и в ступе пестом не утолчешь, с кривой дорожки кнутом не собьешь. Кому б другому прописали обнору по первому слову, а тому многое прощалось, вина забывалась за умение в танце-пляске себя показать, начальство тюремное на праздник порадовать. Уж лучше его плясуна сроду никто не знавал, не видывал, какие он коленца выделывал, выкидывал.

Велся в той тюрьме давний уговор, чтоб в праздный день выводить арестантиков на общий двор: на Маслену неделю иль там на Покров всякий понежиться на солнышке готов. Вот как службу церковную отведут, всех на двор тюремный и выведут, на солнышко полюбоваться-погреться, чистым воздухом подышать, пташек-пичуг послушать, как свистят-поют, заливаются, вольной жизни на свободе радуются. Рассядутся арестантики-каторжники спинами к холоду, лицом к теплу, размякнут-разнежатся, на солнышке греются, а старшой мигнет Прошке рыжему, парню бесстыжему, чтоб гармонь свою тащил, народ тюремный потешил, попиликал чего жалостливое, для слуха сладостное. Тот и рад стараться прыть-удаль выказать,

свое умение выставить. И чихнуть не успеешь, как уже цепями гремит, обратно с заветной гармонью летит. Сядет на чурочку посередь двора, коль его пора, развернет-растянет меха, пробежится по кнопочкам-пуговичкам и-и-и... пошел играть, душу вон вынимать, выворачивать, переливы-переплясы заворачивать. Одну-другую песенку наиграет, выдаст, а мужики уже кричат-просят: «Давай цыганочку! Черноглазую дамочку! Пришел наш час, айда в припляс!»

Прошка для начала языком прищелкнет, надзирателям подмигнет, папиросочку недокурную в зубы возьмет, по сторонам лихо-озорно глянет, присвистнет, меха продует-прочистит, только первые звуки, переливы выдаст, как Иван Лященко с места встает, в ладошки хлопает, ногами в обуви рваной круги-кренделя выписывает, на круг выходит, глазом бешеным поводит. Плечико правое вперед глядит, грудь колесом торчит, глазища черные сверк-посверк, не страшна и смерть; губы до крови закушены, кудри черные распушены, руки вразлет, что твой самолет. А ноги, ноги-то, ноженьки!!! Не танцуют, а разговаривают, сами песню поют, наяривают, коленца-кренделя такие выделывают, выкамаривают, что не поймешь где носок, а где каблукочок-пяточка, до того хороша та плясочка. Весь день бы глядел на такой задел.

А он еще ухнет-гикнет, по дикому засвищет, пойдет вприсядочку, вприпрыжечку руками, как сокол крыльями, воздух сечет, того и гляди, взлетит-вспорхнет, через стену тюремную перемахнет и на волю уйдет. Только цепи на нем звенят грустно-жалобно, взвывают, встренькивают, в полет не пускают, к земле грешной жмуг-прижимают, а он их словно не чувствует, не замечает, лишь плечиками качает, кудрями черными потряхивает да кандалами своими звень-звень побрякивает.

И месяца не прошло, не минуло, как о плясуне тюремном, танцоре застенном весь город прослышал-узнал, а там бумага пришла по начальству в централ от самого губернатора, добряка завязатого. Мол, так и так, железа-кандалы с Ивана Лященко снять, чтоб сподручней было ему плясать, дар-талант, от Бога данный, в землю не зарывать. Да... от добра до худа один шагок через кривой мосток.

Все бы ладно, коль вышло складно, да только так случилось, что дело то дальше под горку само покатилося. Пришла пора, выслуга старому тюремному батюшке Иннокентию выйти в свой срок на пенсию. А вместо него прислал владыка-архиерей для службы для исповедей совсем молодого батюшку, по фамилии Лященко. И вышел случай небывалый, что оказался новый батюшки родным братом арестанту-плясуну Ивану Лященко. Если б власти узнали-проведали, о том родстве раньше разведали, непременно развели б их в разные стороны, как зубья у бороны, чтоб братьев родных в искус не вводить, лишний раз судьбу не испытывать. Да разве от нее, судьбы-то, убежишь-скроешься? Она все одно любого возьмет-достанет, на свой путь направит...

Встретились два брата на службе, а потом и на исповеди. Иван голову наклонил, батюшка его епитрахилью покрыл, слушает, вздыхает, чего тот излагает:

– Благословите, батюшка, снимите грехи тяжкие с души многогрешной, от вин безутешной. Много по свету шлялся-ходил, без счета дел темных творил. Сколько мной худа сотворено, то лишь Господу ведомо. Каюсь во всем содеянном и клянусь жить впредь по-христиански, по-божески.

– Точно ль винишься-каешься, с былым прощаешься?

– Как крест свят, говорю, на былом веревочку завью.

– Какой же твой грех наипервейший, из всех главнейший? – батюшка его спрашивает, крестное знамение творит, на святые иконы поглядывает, о чем худом не думает.

– А тот, что отца с матерью не слушался, в грехах не каялся, добрых слов к сердцу не принимал, из дома сбежал, бродягой стал. Второй мой грех, что забыл брата родного, единокровного и ни разу в молитвах не помянул, не вспомнил. Прости меня, братец родной, всей душой, прими раскаяние за все злодеяния.

Батюшка на него взглянул, епитрахиль приподнял и обмер: родного брата исповедует, чего делать не следует. Уже и не помнит, когда его видел-встречал, никаких весточек давно не получал,

– Дошли до Бога мои молитвы, значит. Не знал, то ли за здоровье, то ли за упокой души тебя, братец Ванюшка, поминать, за что слезы проливать. А теперь, гляди, в тюрьме свиделись...

– Со свиданьем. – Иван усмехается.

О чем они там толковали-шептались, то нам неизвестно. Но только отдал один брат другому свою одежду, чтобы местами поменяться, хоть на короткий срок Ивану на волю выбраться. И пошел один в тюремную камеру, а другой в черной рясе, наклонивши голову, к воротам центральным, крестом на груди поблескивая, глаза к земле опустивши, голову в плечи втянувши.

Как хлопнули позади Ивана створки ворот тюремных да вздохнул он полной грудью воздуха чистого, как вина игристого, да сделал шагов несколько, то и пошла голова у него кругом, позабыл обо всем. Иной бы из города подался, схоронился до поры до времени, а Иван-плясун, тюремный топотун, решил с судьбой в который раз в прятки поиграть-поволандаться, волеюшке обрадовался и отправился напрямиком в кабак, коль вся жизнь пустяк.

Сел за столом, пан паном, заказал потный штоф водочки, к нему сосьвинской селедочки да капуста с грибами, холодца с пирогами и айда давай, успевай считай, ту водку хлестать, рюмки-чарочки опрокидывать. А кому какое дело, кто рядом пьет-закусывает?! В кабаке, как в бане, все равны-одинаковы, хошь ты барин либо волжский татарин. И священник-батюшка, он тоже человек не хуже всякого, почему вечерком не выпить, не закусить, душу не повеселить?

И окажись в кабаке на тот час унтер усатый из тюремного штата. Может, чего пронюхал, уразумел, да к Ивану за стол, не спросясь, подсел. Разговор повел со всякой дичинкой, что гусь с начинкой, кривые моты мотает, сам за ним наблюдает, поглядывает-зыркает, в усищи фыркает. Только не все в дело годится, что за столом говорится, не во всяком камне искра, не в каждом слове правда видна. Ивану бы понять-сообразить, чем чушь городить, что судьба ему знак подает, перекреститься да опомниться, на крыльцо выбежать-выскочить, да и был таков, без всяких дураков – ищи ветра в поле, казака в чистом дате.

Так нет, сидит, никуда не бежит, а беседу говорит, унтера подначивает, вином-водочкой накачивает, да и в свой черед мимо не пронесет. Как два селезня на бережку, всем на завидку рядышком сидят, разговор творят.

А тут гармонь заиграла, всех с мест подняла. Разговоры, трали-вали под лавки пали, мигом смолкли-утихли, мужики к гармонисту головы патлатые повернули, глаза повыпучили: гармонист кабацкий, тоже не трезвенник, поддает-наяривает, гнилые зубы щерит, сыграет печальное, перейдет на веселое. И добрался-таки до любимой цыганочки. Как услышал ее Иван Лященко, не удержался и, как был в рясе церковной, в пляс пошел. На середку выпрыгнул, кочетом прошелся, плечиками влево-вправо повел, головой потряхнул, каблуками вдарил, в ладоши хлопнул-ударил и айда выписывать-вытанцовывать, народ кабацкий дивить-очаровывать. Видать, унтер усатый распознал в нем плясуна-танцора тюремного, да виду не подает, но от него не отходит, не отстает, рядом в пояс идет, серой уточкой плывет. И за ними следом кто потрезвей на круг выскочили-выбежали, вокруг батюшки-плясуна вьются-стелются, слова срамные выкрикивают.

Вышли под утро уже Иван с унтером усатым в обнимочку, словно друзья закадычные, идти не идут, а ноги сами ведут. Дошли-добрели до ближнего сугроба да в него и рухнули, захрапели. Мужики на базар ехали, вытащили их, оттерли-оттаяли, в лазарет направили. Унтеру хоть бы хны, а Иван обе ноги отморозил до полного бесчувствия. Пришлось врачу-доктору отрезать их под самый корешок – до коленочек. А там и обман раскрылся, подмена ихняя. Батюшку сана лишили, в монастырь в работу сослали, а Ивана на волю отпустили, как калеку

безногого. Да куда ему идти-мыкаться? Так при тюрьме-центrale в услужении и остался. А как цыганочку где заиграют, сидит, плачет, слезы льет, что судьба ему такая выпала-досталась. Недаром в народе говорят-бают, слово с делом мешают: не плачь по правде, обживайся с кривдой. Худо, коль не повинился, а еще хужей, когда от вин своих не отмолился.

Паромная уха

Бывает, кого в дороге повстречаешь да сразу не признаешь, то быть в дому непременно покойнику, а может, и повезет – в избу свадьба придет. На белом свете столько примет, что каждому хватит на сто лет. А как на самом деле будет, о том лишь Господь судит.

Возвращался раз из-за реки приказчик купца Серюкова, да и припозднился самую малость: заяц коню дорогу перебежал, приказчика напужал, он в сторону и повернул, другой дорогой мотнул. Хоть и гнал, поспешал, а к парому припоздал.

Стемнелось уже. Паром на другой стороне на волне покачивается, к берегу боком поворачивается. А сами паромщики на берегу сидят, уху хлебают-едят. Видать, вкусна ушица-уха из ерша да чебака. Дух от ушицы такой идет, что через реку до приказчиковых ноздрей достает. Неохота ему с пустым пузом до утра сидеть-ждать, начал он паромщиков к себе звать:

– Плывите сюда, не остынет уха. Да побыстрей давайте, ко мне подгребайте!

Те крик его услышали, да лень в темнотище от сытой ушицы плыть-править, стали его через реку спрашивать:

– А сколь с тебя возьмем, коль переплывем?!

– Рупь! – тот им кричит-отвечает, в кармане мелочь считает.

– Давай два! – они кричат, переправлять за рубль не хотят.

Приказчик тот малость заикался, а когда волновался, тогда совсем ничего не разберешь, слов не поймешь.

– Дал бы и пять, да где их взять! – он им с другого берега снова орет, а самого колотун уж бьет.

Паромщики про пять рублей как услышали, ложки побросали и айда править-грести, чтоб путника позднего перевезти. Помогают ему телегу закатить, закрепить на носу, чуть не держат на весу.

Как до середины реки доплыли, добрались, спрашивать принялись:

– Ну, давай пять рублей, как обещал, когда нас подзывал.

А тот пыжится-силится ответить: мол, не так поняли, не то услышали, а не может, одно шипение из него идет-выходит. Старшой паромщик осердился-обиделся, решил, верно, тот его дразнит-насмехается, да и врезал-вдарил со всей силы веслом по зубам, чтоб не орал по ночам. А приказчик оказался хиленький-слабенький, на ногах не устоял, за борт в воду упал, да там и пропал. Только чуть булькнуло-плескнулось, да все и успокоилось. Паромщики испугались, багры похватили, в воде искать-ловить начали, а ничего не нашли, не нашарили, видать, крепко тому вдарили.

К берегу пристали, а ушица на ум после утопленника и не идет, всех мужиков лихоманка бьет. Стали думать-гадать, чего им теперь делать.

– Лошадь с телегой цыганам продадим-сбудем, а про утопленника навсегда забудем, видеть его не видели, слышать не слышали, а все на берегу ушицу хлебали, – старшой паромщик говорит-предлагает, на остальных взглядывает.

Ну, делать нечего, как сговорились, так и согласились. На телегу заскочили, погнали цыган искать, им лошадь нечаянную продавать.

А тем временем приказчик из реки выплыл, на берег вылез. Пока плыл, сапоги и одежду с себя скинул. Вот и стоит гол, как осиновый кол. Паром на волне покачивается пустой, а лошади с телегой нигде нет, простыл и след. Чего ж тут делать-гадать, надо к дому поспешать.

Выбрался приказчик на дорогу быстрехонько, скинул белишко скорехонько, стал с нею мокроту выжимать, из ушей воду вытряхивать. Вдруг глядь. навстречу ему тарантас едет-правит, а в нем пьяный урядник сидит, сам с собой говорит, песни поет, беседу ведет. Увидал голого мужика на дороге, вожжи натянул, сам себя ущипнул:

– Кто будешь? Откуль идешь? Почему гольшом, лишь с нательным крестом?

– С-с-с...в-в-в...о-о-о...ды-ы-ы... – сказать приказчик силится, заикается, объяснить старается.

А урядник в ответ:

– Ах, с воды?! Ну, так снова иди туды! – вожжами хлестанул-поддал, да и дальше погнал.

Приказчик осерчал-осердился, да и кинул ему вслед белье мокрое, а попал-угодил в огород соседний, лежит оно на грядке, как снег весенний.

Чертыхнулся, выругался, а делать нечего, надо белье обратно доставать, хоть мокрое одевать. Только через забор перелез, а тут пес злой, как бес, с цепи сорвался, приказчика кусать принялся, едва обратно тот перебрался, да так ногишом и помчался. Судьбу свою проклинает, стыдное место лопушком прикрывает. Ковылял-брел, едва до дома своего добрался-дошел. Стучится в окошечко тихонечко-легонечко. Жена его в окно выглянула, створку распахнула, а там – страх какой – стоит мужик синий-нагой, к ней руки тянет, чего-то шепчет. Ну, она от оконца отскочила, ногой половичок зацепила, да и упала, косицей о сундук ударилась-попала, на месте и померла. Муженек голый в окно взобрался, мертвую женку увидел, пуще прежнего испужался, на улицу выпрыгнул, за деревце руками ухватился, стоит не шевелится. Вдруг слышит, колокольчик побрякивает, колеса поскрипывают, глянул, а то лошадка его к нему бежит, домой спешит.

А паромщики как к цыганам поехали-погнали, то не сразу их отыскали. В таборе самом пусто-пустехонько, лишь один костерок горит, возле него молодая цыганка сидит.

– Где все есть? – ее спрашивают.

– Да в город пошли промышлять, еду добывать.

– Родичи твои нам по делу нужны, где они есть, покажи. Поехали скорехонько, найдем их быстрехонько.

Девка согласилась, на телегу взобралась, поехали шагом, благо город рядом. А лошадка, как дорогу к дому узнала-почуяла, изо всех сил побежала, возчиков не слушая. Вдруг откуда ни возьмись мужик голый-синий на них как бросится-кинется, мычит чего-то, руками машет. Паромщики народ суеверный-опасливый, утопленника своего признали, врассыпную побежали-кинулись. Одна цыганка в телеге и осталась, сидит, хоть до смерти испужалась.

Открыл приказчик ворота, лошадь завел, одежду на себя сухую сыскал, накиннул, да и пошел соседей кликать-звать, чтоб жену в последний путь обмыть-собрать. Хозяин его, купец Серюков, на похороны страдальцу, ночному скитальцу, не скупясь, деньжат подбросил-подкинул, домишко на дальней заимке подарил-вырешил. Зря он, что ли, страдал, голым по городу скакал?

А цыганка молода, не будь плоха, с приказчиком жить осталась, на заимку с ним перебралась. Вот с тех пор на заимке серюковской и пошли все жители курчавые да чернявые, песни кричали-орали, коней чудных держали, рыбной ловлей промышляли. Вот и гляди: верить иль не верить в зайца да в сову, что будет несчастье на дому.

А паром речной под крутой горой все в том же месте плавает-шлындает, добрых людей с одного берега на другой перевозит, пока зима реку не заморозит. И рыбка на том месте вкусная-сладкая ловится, не переводится, уха из нее славная получается, так и зовется – ушица паромная, еда скоромная.

Про семинариста Платона Петухова и корову Пчелку

Все на свете мудрено, что вокруг нас сотворено. Мир что огород, всяк в нем вырастет. Небо – престол Бога, Земля – подножие. Там рыба-кит лежит, дрожмя дрожит, людей ворошит. Бог старый месяц на звезды крошит, ими небо метит-кропит, людям спать велит. Живет на свете каждый своим сроком, только одни – с толком, а иные – пополам с грехом, с гнилым нутром.

Жил-поживал, на обед щи хлебал семинарист тобольский Платон Петухов. Жил как все должно, не без грехов. В учениках хаживал без малого десяток годков, уже и бороденка кустится, а все никак не рукоположится. Готов идти хоть в звонари, лишь бы не зубрить от зари до зари.

Терпел-терпел Платон, маялся да однажды в бега ударился. И сам не понял, не сообразил, как это с ним случилось-вышло. Шел по городу, глянул, лошадь стоит, пьяный хозяин в трактире сидит. Вскочил в сани и погнал за город прямехонько-скорехонько, на тракт выехал, да так и шпарил, пока лошадедку не загнал, не запарил. Бросил ее, пешком двинул. Долго так шел-брел, пока сам не заморился, из сил выбился. Завернул в деревеньку небольшую, неприметную, постучался в первую избу, попросился переночевать подобру. И надо же так случиться, что у хозяина, Аверьяна Маклакова, мужика толкового, в гостях свояк сидит, самогоночку выпивает-пробует.

Посадили они и Платона Петухова рядом с собой, поднесли шкалик первый, за ним и другой, стали беглого семинариста пытаться, кто такой с нестриженной башкой. А он с пьяных глаз возьми и скажи: мол, батюшка я, в свой приход пробираюсь-маюсь, недалечко обитаюсь.

Аверьян Маклаков еще шкалик налил-опрокинул, да и спрашивает:

– Вот ты, видать, человек ученый-знающий, все на свете понимающий, а сможешь ли загадку отгадать-угадать? Стоит длинню-ю-ю-щий мост на семь верст, а по конец моста – золотая верста.

Платон в затылке почесал, башкой помотал, но ничего не сказал. Начали тут Аверьян Маклаков со свояком вместе над ним хохотать, пальцами тыкать, рожи корчить.

– Эх ты, сколь лет учился-трудился, а до простой отгадки и не додумался. Выходит, зря тебя учили-мучили, не по чину рукоположили. Ведь отгадка простая, совсем не хитрая. То же Великий пост и Христово Воскресение! А ты чего подумал!

Обидно Платону стало, что над ним столько лет в семинарии учившимся – одних штанов протер столько, что иному на всю жизнь хватит – тут простые мужики насмешничают, похохатывают.

– Ладно, по первой не в счет. Теперь вы мою загадку слушайте-отвечайте. Как родился, не крестился, Бога носил, умер – не покался.

– Так то лавка! – Аверьян первым вскричал, а свояк поддакнул.

– Разве лавка перед смертью кается? Дурни вы деревенские и есть дурни. Верно, Святое Писание и не открывали, про Вербное Воскресенье слыхом не слыхали. То осляти, на котором Христос в Иерусалим въезжал.

Аверьян со свояком согласились, по новой налили, выпили, крякнули.

– А почему ты думаешь, – Аверьян в Платона-семинариста пальцем указывает, – будто у скотины души нет? Она, может, и бессловесная, но душа должна иметься. Вот моя корова Пчелка такая-растакая умница-разумница... Все понимает. Иной бабе сто очков вперед даст.

– Ты там лишку-то не болтай, не мели, – жена из-за занавеси на мужа прикрикнула, – а то на Страшном суде спросится.

– Чья бы мычала, а твоя бы молчала. Бабья дорога – от печи до порога. – Аверьян ей в ответ без запинки метит. – Чего хочу, то и говорю.

– Нет души у животного. – Платон возражать начал, да забыл, о чем сказать хотел.

– А я говорю, есть! – Аверьян крепко на своем стоит, опять всем наливают, обносит. – Почему ей не быть? Душе-то?

– Чего ж не окрестишь Пчелку свою? – свояк слово вставил, себе винца добавил.

– Да вот как-то не дошли руки. А мы сейчас батюшку попросим окрестить Пчелку да крестное имя ей дать. Чего скажешь? – Аверьян за плечо Платона ухватился, к себе притянул. – Я и заплатит могу. Хошь, сапоги новые подарю? – Кинулся в горницу, сундук открыл, тащит к столу пару новеньких сапог хромовых.

Платон глянул, в самый раз сапоги.

– Дай померю, – просит, – а вдруг да не полезут. – Померил. Сидят на нем сапоги, как влитые, и сниматься не хотят, не желают.

Ладно, пошли в хлев все вместе, бабу в избе закрыли, чтоб криком народ не пугала, святому таинству не мешала. Аверьян со свояком крестными быть согласились, а Платон Петухов по полному канону окрестил коровенку, крестик на лбу нарисовал и новое имя ей дал – Пелагея.

Утром беглый семинарист дальше подался в новых сапогах. Побродил, покуролесил да в скором времени обратно в город возвратился, сизнова за учебу принялся.

А летом пошли по всем селам-деревням писцы-переписчики ревизию делать, подушное население на листки записывать. Пришли на двор к Аверьяну Маклакову, записали и его, и бабу, и детишек малых, уходить собрались, а хозяин мнетя чего-то, хмыкает. Спросили его, чего не так, а он и отвечает:

– Да еще девку Пелагею пяти годков записать забыли...

– А где она? Покажи девку.

– Да в поле пасется...

– Это как так... пасется?!

Пришлось Аверьяну все про крестины рассказывать-виниться. Сообщили о том в Тобольск владыке архиерею. Тот велел Аверьяна и девку Пелагею, что короной значится, к себе на разговор привести-доставить. Выслушал он Аверьяна, подумал чуть, усмехнулся в седую бороду и вынес такое решение:

– Словом своим архиерейским освобождаю тебя от первого брака с законной женой, а жить тебе впредь с короной, которую ты людским крестным именем назвал. И поскольку она сама за собой следить-хаживать не может, то тебе опеку за ней и поручаю. Не смей ее бить-мучить, молока требовать. И убить не вздумай, а то опеку на каторгу по первому разряду на двадцать пять годков. И чтоб держал ту Пелагею в дому в тепле-неге. Я же велю за тобой присматривать-приглядывать, мне обо всем докладывать.

Жена с детьми от Аверьяна в первый же день ушла, как о приговоре-решении владыки узнала. А он держал в дому своем ту корову до глубокой старости, так и жил-мыкался. Когда померла Пелагея, то гроб под нее скотил и подле кладбища у ограды схоронил.

И Платон Петухов недолго держался, на первой исповеди батюшке во всем признался, как корову окрестил, христианским именем нарек. Батюшка ректору доложил как положено, тот владыке архиерею опять же. Сыск провели, все выяснили. Прописали Платонушке пятьдесят плетей горячих да в дальний северный монастырь сослали до конца жизни на скотный двор работником. Сказывают, что на старости лет он умом тронулся, человечьей речи лишился, а все мычал да кукарекал.

Вот оно как бывает, когда мужик разум теряет. Не та беда, что на ум пришла, а та беда, которая со двора не идет, ум набок завернет...

Проказы Димы Менделеева

Дима Менделеев, мальчонкой ишо, шибко шустрым был, на проказы горазд, и слыл озорником наипервейшим. И не подумаешь, что батюшка у него сам директор гимназий, да и мамаша рода в городе известного, почтенного.

Вот, бывало, гости к ним придут-явятся, горничная, как водится, самовар вынесет, варенье для угощения выставит, суетится, туда-сюда бегаёт. А Дима, не будь плох, потихонечку угощение распробует, подложит в вазочку капустки квашеной или хлебца черного, да и был таков, убежит на двор.

Гости как варенье откушают-отведуют, поморщатся, на хозяйку поглядят, удивятся: «Чего-то не видали, не слыхивали, чтоб из кислой капусты нынче варенье варили...» Скандал, да и только.

Вот отдали Диму в гимназию науки осваивать, уму-разуму учиться. То-то учителя натерпелись от него, намыкались. Принесет на урок жука майского, засунет в пустую коробочку, в уголок ее спрячет, сам сидит как ни в чем не бывало. В классе тишина стоит, только перья скрипят, а жук как начнет в коробочке скрестись-ворочаться, словно черт из-под пола наверх просится, вот учитель и бегаёт-носится, причину ищет, а там и урок пройдет-кончится. Раз Дима с балкона гимназического змея воздушного запустил, а к нему кота черного привязал. Змей летит, кот вопит, гимназисты на улицу повискакивали, в него камнями швыряют, инспектора их обратно загоняют. А когда Дима из леса ежа притащил да учителю латыни на стул подложил, а тот сел на него сослепа, вот шума-то было... Едва парня из гимназии не выгнали, не поперли. Маманя отстояла, уговорила мальчонку оставить, обещала больше за ним приглядывать.

А ведь больше всех других она Димочку любила-холила, все ему прощала, потому как последышем в семье был четырнадцатым из всех детей ее. А может, сызмальства талант в нем увидела-угадала, от Бога данный, потому никогда не наказывала. Слово материнское, оно всех иных ценней, дороже будет – и защитит, и сбережет, и по жизни поведет.

Но больше всего Дима любил летом с маменькой да братцем Павлушей наезжать в деревню Аремзянку, где у них стекольная фабричка стояла. Уж там тебе простор-вольница, хоть на речку беги, хоть в лес по грибы-ягоды иди. Только Дима чаще всего в гуту пробирался, где работники стекло варили-плавил. Заберется в уголок, спрячется и глядит, глаз не сводит, как из чанов, что на огне бурлят-стоят, длинной трубкой шарик дымящийся вытянут-вынут, в трубку дуть начнут, а из того шарика бутыль получается-выходит или графин формы чудной, затейливой. И все ему хотелось самому в трубочку подуть-попробовать, да работники мальчика к печи, к котлам и близехонько не подпускали, из гуты гнали.

Подговорил тогда Дима братца Павлушу ночью тайно на гуту сходить-пробратся, в мастерской поупражняться. Ладно, как все спать улеглись, открыли они оконце, наружу выбрались и бегом на фабрику. А там печи в полсилы горят да мальчонка-шураль спит на лежанке, калачиком свернувшись. Обмакнули они трубки в стекло жидкое, вынули, дуть изо всех силенок начали, а ничего не выходит, не получается, сколь не стараются. Видать, силенок еще маловато, не хватает для работы такой.

– Может, стекло плохо сварено? – Дима спрашивает.

– Ой, страшно мне, – Павлик ему отвечает, – пойдем скорее обратно домой, а то увидит кто, накажут да еще матушке пожалуются.

– Погоди чуток, попробую порошков разных в чан со стеклом расплавленным насыпать, поглядим, что выйдет-получится...

Взял Дима одну баночку, высыпал, открыл другую – туда же в бадью опрокинул, черпаком размешал, и заиграло стекло красками невиданными, чудными, разноцветными. А тут сзади кто-то как схватит их за уши и говорит грозным голосом:

– Это вы чего, шустрейцы-пострелы, удумали-понаделали? Весь раствор нам испортили! Мальчики головы повернули, исхитрились, а там дядя Матвей-мастер стоит, их за уши держит, выговаривает:

– Вот как матушке расскажу-пожалуюсь, будет, вам на орехи-пряники.

– Так мы, дядя Матвей, хотели секрет узнать-вызнать, как то стекло варят-готовят, посуду выделывают, – Дима ему отвечает, – чего же в том плохого-нехорошего? Покажи нам, дай попробовать.

– Эх, приму грех на душу, – Матвей-мастер сжалился, отпустил мальцов, – смотрите, как делается. – Взял в руки трубку и выдул каждому по стеклянному яичку пасхальному цвета необыкновенного.

Обрадовались мальчики, побежали домой, подарки в руке зажав. К дому подошли, а Дима и говорит-предлагает:

– Давай над кухаркой нашей Глафирой подшутим – подложим стеклянные яички под курочку и поглядим, что выйдет с того.

Сказано – сделано. Забрались в курятник, подсунули в гнездо ближней хохлатке пасхальные яички, да и в спальню к себе обратно через окно влезли-забрались, спать улеглись. Утречком, спозараночку, пошла Глафира-кухарка курей посмотреть-проведать, яички у них собрать к завтраку-обеду. Вдруг, как кипятком ошпаренная, выскакивает, кричит-блажит дурным голосом:

– Ой, матушки святы, куры наши кем-то прокляты. Нечистая сила в курятнике завелась! Куры стеклом нестись начали!

А ребята глядят, похихикивают, как та по двору бегают, орет-убивается.

Решили другую каверзу сотворить, в полное расстройство тетку бедную ввести-удивить, всех людей насмешить. Упросили Матвея-мастера выдуть им стеклянных птенчиков, в желтый цвет раскрасить да опять же тайком в гнездо подложили, где несушка на яйцах сидела, цыплят высиживала. Ждут-пождут, когда Глафира в гнездо к ней ползет, цыплят найдет. Два дня прошло, пока та в гнездо не сунулась, вынула стеклышки, под птенчиков раскрашенные, и в обморок упала, едва отходили бедненькую. Тут уж матушка Мария Дмитриевна наказала шалунов примерно: без сладкого на неделю оставила, крапивой грозила, обещала батюшке пожаловаться. Унялись на том, прекратили проказы-шалости...

А Дмитрий Иванович, как в возраст вошел, стал ученым известным, то частенько проказы свой вспоминал и стекольную фабрику, где секреты стекольного дела познавал. Озорство, оно всякое бывает: иное без ума, а иное на пользу идет, коль Господь талантом наградил, перстом указал.

Как Александр Алябьев с собачкой совладать не смог

Шел однажды Александр Александрович Алябьев со службы церковной к себе домой. Потихонечку шел, песенку насвистывал сочинения собственного, как вдруг откуда ни возьмись собачонка махонькая из подворотни выскакивает и цап его за штанину. То ли музыка ей не понравилась, то ли характер дурной, но цельный клоч зубками острыми вырвала.

Александр Александрович на что боевой офицер, подполковник, всю войну с французом прошел, награды от царя-батюшки получил, а тут какая-то собачонка напала-набросилась, ну не драться же с ней, право дело. Пошел дальше сконфуженный и, какую песенку насвистывал, вмиг позабыл. Дома слуге Прошке велел штаны в починку снести, да и забыл на том о при-скорбном случае.

Только и в другой раз, когда опять из церкви возвращался, собачка-моська на него в том же месте выскочила-набросилась. Он, не будь плох, картуз с головы сорвал да метнул в неприятеля. А та картуз в зубы и к себе во двор утащила. Вот те на! Не понять, чья взяла.

Деваться некуда, поплелся домой, пригорюнившись-опечалившись, без картуза, с непокрытой головой, как есть растрепа растрепой. Ветерок холодный кудри треплет-развевает, наскрость продувает.

Затаил Александр Алябьев на ту собачонку злобу, решил счесться с ней, расплатиться за штаны порванные, за картуз утерянный. Велел слуге Прошке заготовить для прогулок палку дубовую, тяжелую, для обороны удобную. А в церковь-храм не пойти нельзя, поскольку наложена на него церковная епитимья, в грехах каждодневно каяться-исповедоваться.

Когда проживал Александр Александрович на Москве, то случился с ним грех-беда: сел играть с обманщиком-плутом в карты, а потом побил того, попотчевал за обман-неправду, за деньги проигранные. А тот возьми через пару дней и помри-скончайся быстрой смертушкой, то ли от болезни какой, то ли с другого чего. Вот Алябьева и потянули на суд, посадили в казенный дом, в Тобольск в ссылку направили-упекли на семь лет с тем, чтоб каждодневно в церковь ходил, за грехи прощение молил. И совсем было смирился Александр Александрович, во всех грехах-промашках своих раскаялся, а тут, на тебе, собачонка несчастная и до другого греха едва не довела, из себя чуть не вывела.

Вот идет Александр Александрович со службы церковной в другой раз с дубовой тростью в руках наготове, зорко под ноги посматривает. Только стал к тому двору подходить, как собачка, все та же, на него бросается, укусить норовит. Поднял он трость-дубину, призамахнулся, а из ворот барышня выходит-выпархивает и говорит ему слово обидное:

– Что ж вы, сударь, на нашего песика размахнулись, палку подняли? Уж два разочка в окошко видела, как вы его обижаете, слова доброго не скажете, нехорошо поступаете, – собачонку на руки подхватила и калиткою хлопнула.

Пришел Александр Александрович обратно домой вконец раздосадованный, сел за инструмент-рояль клавишный, да и сочинил песенку печальную-грустную: «У попа была собака, он ее любил...»

Слуга Прошка как песенку ту услышал, наизусть выучил, соседям спел-рассказал, от себя чуток добавил-приврал.

Отправился Александр Алябьев в субботний день к батюшке-священнику на исповедь и все рассказал, как он зло на собачку держал, в том покаялся. Пожалел его батюшка, грехи отпустил, обещал перед владыкой епископом слово замолвить, прощение вымолить.

– То, сын мой Александр Александрович, тебе испытание дано, послано. А коль выдержал, обуздал себя, знать, другим человеком стал-сделался.

Спешит-бежит домой Александр Александрович, ног не чуя, и про собачку зловредную совсем забыл, да и та на сей раз не выскочила, не тронула. А через месяц с небольшим пришло с Петербурга-города от самого государя-императора ему полное прощение со снятием епитимьи. Разрешили обратно в Москву перебраться-выехать, жить как раньше жил, человеком свободным, ни в чем не запятанным.

Уехал Александр Алябьев с Тобольска, а песенку про собачку нам с вами оставил на память петь и тварь-скотинку, как он, жалеть.

Кюхельбекер Вильгельм и нищий каторжник

Много город Тобольск ссыльных видел, часто звон кандалный слышал. Случалось, и дня не проходило, чтоб в острог городской несчастных не привозили, будь то хоть в зной летний, хоть в стужу зимнюю.

Вот однажды въезжает в Тобольск возок простой, крытый рогожей, а в нем сидит государственный преступник, каторжанин Кюхельбекер Вильгельм со своим семейством. Когда-то с самим Пушкиным знаком был, а на царя-батюшку руку поднял, и не помиловали, сослали на рудники в тяжелые работы. Вот теперь, когда он все здоровье потерял-порасстроил, разре-

шили ему в Тобольск переехать, тут пожить. Из всего добра у Вильгельма Карловича – сундук один, с бумагами весь, доверху тетрадками набитый, а на каждой страничке – стихи, им писанные-сочиненные, и все тут его имущество.

Отлежался чуть Вильгельм Карлович, в чувство пришел, да и отправился по городу по домам друзей проведать, обняться с теми, кого много лет не видел, чьего голоса давно не слышал. Зашел к одному, заглянул к другому, посидели, потолковали о том о сем, о судьбе-доле тяжкой. Домой направился, а тут на городских храмах в колокола звонить начали, к обедне прихожан созывать. И нищие-калеки прежде всех к службе потянулись-заковыляли. Один старик седой, с бородой до пояса, глаза слезятся, голова трясется-подрагивает, к Вильгельму Карловичу руку тянет, подаяния просит. Тот порылся в карманах, поискал, а ничего и не выискал, отвернулся, мимо прошел, будто не заметил калеку убогого.

На другой день на базар с женой пошли и опять на нищего, образом с Лукой-апостолом схожего, наткнулись. Жена хотела ему в ладонь морщинистую копеечку вложить, да Вильгельм Карлович отскочил, отшатнулся, тянет ее дальше. И так каждый день, куда он ни направится, а обязательно на того нищего наткнется. Все бы ничего, да как-то увязался тот старик за ними следом, узнал, где они квартируют, угол снимают, и стал в дни праздничные к ним стучаться, подаяние просить. Однажды Вильгельм Карлович не выдержал, да и спрашивает нищего калеку:

– Скажи, мил-человек, отчего ты за мной по пятам ходишь, проходу не даешь? Я ведь такой же убогий, как и ты, в Сибирь сосланный...

– Уж больно, барин, ты на моего господина похожий, которому я много лет назад верой-правдой служил и по его барской милости на каторгу угодил.

– Ну-ка, расскажи, старина, как дело было. Что-то я тебя не припомню, запомню, запомню, видать.

– А может, и я чего путаю, – нищий оробел, кланяться стал, – да уж больно похож ты, барин, на него. В точности, как мой прежний...

– Сказывай, сказывай, старина. Слушаю.

– Служил я когда-то при барине добром, что обличьем с вами схож, в доме убирал, печи топил. И как-то раз не разгоралась печь, бересты при мне не было, и взял я у барина со стола лист бумаги на растопку. Он как пришел, потерю обнаружил и хватить меня за грудки... Я и признался, что бумажки малый клочок на растопку издержал. Чем уж так бумажка та дорога была барину, но только отдал он меня в солдаты в бессрочную службу. А я не выдержал строгостей, бежал, пойман был, вот и угодил в Сибирь на поселение. Так и живу, горе мыкаю...

Выслушал его Вильгельм Карлович, ничего не сказал, только велел жене накормить убогого, из вещей чего подарить. Когда старик уходить стал, то и спросил:

– А вы, барин, по какой причине в Сибирь попали? За какие грехи?

– Тяжкий мой грех – против царя смертоубийство замыслил...

– Спаси, Господи! – Нищий вздрогнул весь от слов таких, перекрестился. – Вот ведь до чего книги довести человека могут... Такое умыслить, такое... – Ушел и не приходил более.

А Вильгельму Карловичу после той встречи вдруг занеможилось, захворал, да и помер вскоре. Похоронили его на местном кладбище, а на могилке часто видели старика с сумой нищенской и с бородой, как у Луки-апостола.

О царевом племяннике, девице Агриппине и купцах Корнильевых

В иные времена стародавние в Тобольске-городе разный народ жывал, со всей земли сюда приезжал. Тут тебе и шляхтич польский по улочке прохаживается в кафтане дорогом, бархатном, и китаец узкоглазый с мешком на плечах куда-то бежит-спешит, по-своему чего-то бор-

мочет, и хан бухарский на белом коне едет, дорогим кушаком подпоясанный, и царевич грузинский с кинжалом на поясе, в папахе бараньей в пролетке красуется, сам собою любит, и барон немецкий в очках-коромыслах у оконца сидит, на мир честной глядит. Всяких людей народ тобольский видел-перевидел, и все-то они для тоболяков-сибиряков равны-одинаковы – что барин с ручкой топкой, белой, что мужик-бродяга в онуче серой. Мало кто сюда по доброй воле ехал-спешил, чаще их царский пристав в железах привозил.

И надо же такому случиться, что однажды в Тобольск сам родной племянник матушки-царицы Елизаветы, известной всему свету, подполковник гвардейский Наум Чеглоков на долгие годы в ссылку угодил.

Рос тот Наум Чеглоков при дворе царском, ни в чем отказа не знал, на золотой посуде едал, самые дорогие платья нашивал. Как подросток, отдали-определили его в царскую гвардию, и пошли-посыпались на малого чины-награды от сударыни-императрицы. Все бы ничего, и дальше жил бы он как хотел, что душе угодно, всегда имел, да только взошла на престол другая царица-императрица – Екатерина Алексеевна. Невзлюбила она Чеглокова, от двора убрала и в армию служить направила. А Наум-то за те годы изнежился, жизни военной-армейской и не нюхал, соплей на кулак не мотал, не морозил, службы не знал, в боях не бывал.

А тут наша армия в поход пошла-отправилась – на Кавказ с горцами воевать, кровь проливать. И Наума Чеглокова туда ж отправили за отчизну послужить, славы в боях добыть. Только из первого же боя сбежал он переметнулся к царю грузинскому. Тот его принял, родным сыном назвал, отряд под его начато выделил. А Науму Чеглокову все мало кажется, объявил себя царем грузинским, самым главным на Кавказе правителем.

Как наши генералы о том узнали-прознали, то недолго думая ночью темной на новоявленного царя напали, ручки-ножки ему скрутили-связали да обратно в Россию и отправили. Там военный суд племянника царского судил, на вечное житье-поселение его в Сибирь определил-направил.

Как приехал царев племянник в город Тобольск, начал в дома знатные похаживать-навещиваться, «вашей светлостью» называться. Только сибиряки на своем веку всякого повидали и ссыльного-опального в знатные дома на порог не пускали. А Наум, парень молодой, красив собой, обхождения столичного, к уловкам привычного, присмотрел-сосватал за себя девушку молодую, неопытную Агриппину Тарашкину. Даром что сержантская дочь из простого звания, зато собой хороша-красива, лицом бела да румяна, всегда весела, в речах вольна.

Стали жить-поживать, дом свой обихаживать. А тут пришел срок матушке-императрице Екатерине Алексеевне помереть быстрой смертушкой. Сынок ее всем ссыльным прощение даровал-миловал. Засобирался и Наум Чеглоков из Тобольска ехать-съезжать, на родину возвращаться, стал со всеми прощаться. Вот законная его жена, Агриппинушка, и говорит ему, спрашивает:

– На чем, как поедем? Я в простом возке не согласная. Хочу карету с золотым гербом, с парчовыми подушками.

– Да где я тебе такую карету возьму-сыщу? Дай Бог, самим отсюда живыми выбраться. А ты карету требуешь, чего говоришь, не ведаешь!

Только Агриппина уперлась-надулась, подавай ей карету, и все тут! Муженек спорить не стал, прислать за ней карету с Петербурга обещал, в ямской возок запрыгнул, ручкой махнул и будь таков, жди седьмых петухов. Укатил, женушку одну кинул.

Вот ждет Агриппина один год, ждет другой, когда ж за ней карету из столицы пришлют. Так ехать не желает. Как вдруг письмо ей приходит с извещением: мол, помер ваш муженек законный. Так и не прислал за ней карету! Ладно, по такому делу собралась она в Петербург поехала, как мешанка простая, стала о наследстве хлопотать, пороги обивать. Только родня мужнина ее за ровню не почитают, дверей бедной вдове не открывают. Мол, откуда такая девка незнатная взялась-явилась? Зачем из Сибири сюда притащилась?!

Так она ни с чем обратно в Тобольск и уехала-возвратилась. А тут купчиха знатная. Марфа Корнильева сватов к ней прислала, за младшего сына посватала, даром что невеста на пятнадцать годков жениха постарше будет. Делать нечего, вышла замуж сиятельная вдова за купецкого сынка. Видать, судьба такая, не царская...

Как Петр Ершов из Тобольска уехать собирался, да в нем и остался

За морем, может, и жить теплее, да у нас веселее. Хороша Москва, да не дома; красив Питер-град, да не нам брат. Далеко туда из Тобольска ехать-скакать, зря только деньги на ветер бросать. А кто в Тобольске жизнь прожил, добрую службу нам всем сослужил.

Жил в Тобольске-городе сказочник известный, человек честный, Петр Павлович Ершов, чей род не нов. В Сибири родился, в Петербурге учился, обратно возвратился да здесь и прижился. Стал учителем работать-служить, детей уму-разуму учить, стихи писать, в своем дому тихо-мирно поживать.

Только однажды приходит со службы сам не свой, сердитый да злой. А жена его на порожке встречает, ласково величает:

– Чего хочешь-желаешь, Петр Павлович, дорогой? Чего рано со службы вернулся домой? Может, киселька брусничного подать или шанежку сдобную замешать?

А он ей сердито отвечает, очками сверкает:

– Ни киселя, ни шаньги – ничего не хочу, не желаю, а завтра из дому уезжаю, – туча тучей в кабинет свой мимо жены прошел, дверью хлопнул и сидит себе, молчит, ни с кем не говорит.

А жена у него умная женщина была, дочь генеральская, тоже молчит. Ни в чем мужа не корит. Но вот пришел срок за ужин садиться, она к нему тогда и стучится:

– Петр Павлович, муженек миленький, всеми любименький! Пойдем перекусим чем Бог послал. Сядем рядком, поговорим ладком.

Голод – ни тетка, ждатель не станет, любого достанет. Выходит хозяин из кабинета, садится на край табурета. А жена-женушка вокруг него хлопочет, угодить мужу хочет, чайку подливает, сладенького подкладывает, а потом тихонечко спрашивает:

– Скажи, миленький муженек, далеко ли едешь, на пятницу или на среду? Да по каким делам, чего в дорогу собрать-положить, чем удружить?

– Не хочу, не желаю в Тобольске более жить-служить. Надоели мне все начальники, замучили разными строгостями: так не делай, того не читай, этого не спрашивай... Мочи моей больше нет, опостылел весь белый свет. Давно в Петербург друзья зовут-приглашают, меня поджидают. Завтра туда и отправлюсь, как с делами травлюсь.

– Поезжай, Петр Павлович, поезжай, да нас не забывай. Только куда ж ты посередь зимы собрался? Замерзнешь еще...

– А ты мне теплое белье шей-свяжи, не хочу ждать до весны.

– Хорошо, ласковый ты мой, будь по-твоему. Прямо сегодня носки шерстяные, самые толстые, вязать сяду-примусь, через недельку и управлюсь...

– Как так недельку?

– Так быстрее не получится. Уж ты дома пока поживи-потерпи.

Вот неделя проходит, Ершов у жены интересуется:

– Все ли связала, в дорогу сготовила?

– Ой, милый муженек, всего лишь первый носок готов, за второй принялась, вся умялась.

Еще неделя прошла, опять Ершов жену спрашивает:

– Готовы ли носки на обе ноги?

– Все, миленький, пара готова, завтра за другую примусь, за работу сажусь. Да и не с руки тебе перед самым Рождеством ехать, беду кликать.

Ладно, Ершов жену послушался, на зимнюю пору дома остался, сизнова стихи писать принялся.

Прошло Рождество, минуло Благовещение, а там и сама Пасха пришла, тепло принесла. Забыл Петр Павлович про обиды-печали, ходит по дому веселый-радостный. И про поездку свою куда забыл, на другой срок отложил.

И так каждый раз: как в Петербург или еще куда засобирается, жена тут же носки вязать принимается. Пока пряжу сучит-прядет, уже и зима пройдет. А там, глядь, и Петр Павлович постарел, раздобрел и ехать вроде как ни к чему, когда хорошо в дому. Долго Петр Павлович ехать в Петербург собирался, да все не решался, дома остался. Так и дожил в Тобольске до старости, тут и преставился.

Вот как дело было, а может, и не было. Одно точно знаем и вам желаем: где кто родился, тот там и сгодился. Где ни жить, а одному царю служить. Не ищи добра на стороне, а живи по старине, как отцы-деды живали, нам завещали.

Про старца Распутина Григория и семью царскую

Неоперенная стрела вбок идет, кривое деревце в корень растет, сокол ловчий с лета птицу хватает, а ворона иной раз и сидячего не поймает. Вот как оно на белом свете по-разному бывает.

Много ране в Сибири деревенек стояло, густо в них народу разного живало. За инога и полушку не дадут, а иные, лихие, черта в луже утопят, а сами сухие остаются, ходят. Родился в большом Покровском селе паренек именем Гриня-Гринек, по прозванию Распутин, своих родителей собственный сынок. Как в возраст вошел, бороду завел, стали звать Григорием Ефимовичем. Грамоту знал, в работе не скучал. Девку работающую в жены взял, от других не отстал, а там и детки пошли, всем хороши. Живи, радуйся, что Богом не забыт, животом сыт, от пятницы до субботы носи сапоги без заботы.

Только не таков был, видать, Григорий, чтоб на одном месте жить, дале околицы не ходить. Наслушался от старцев-странников баек-рассказов о дальних краях, о святых монастырях, решил сам по свету походить-побродить, узнать, где правда скрывается, отчего мужик всю жизнь мается. Выпросил у батюшки благословение, у жены с детьми прошение, да и пошел-отправился странствовать-шагать, белый свет узнавать.

Долго ли, коротко ли Григорий Ефимович ходил-бродил, все святые места посетил, как вдруг дар ему дался-открылся – людей лечить, болезни разные из них выводить. Стали его в разные дома приглашать, добрым словом привечать.

И дошел слух о нем до царя с царицей, что с единственным сыном-наследником маялись-жалились, от смертной болезни лечили, а излечить не могли даже иноземные лекари, все болезни наперечет знавшие. Велел царь-император сыскать странника Григория, привести во дворец к сыну Алешеньке, дабы хворь с него снял, на ноги поставил, от беды избавил.

Пришел Григорий Ефимович во дворец царский, подивился на покои невиданные, провели его в спальню к царевичу да наедине и оставили. Лежит мальчик Алешенька бледный, как воск, прозрачный, словно стеклышко. Глядит на старца глазами невинными и сам не знает, за что про что наказание ему от Бога выпало. Поглядел на него Григорий и все понял враз: то люди черные, собой нехристи, напасть наслали-нанесли на Алешеньку. Видать, не хотят, чтоб он страной правил, на отцово место вставал, крылья-крылышки расправлял.

– На, испей водицы святой, – подает ему старец скляночку, – взята она добрыми людьми на Афон-горе из источника. Не устоять против нее силам злым, отлетят-отойдут, как черт от ладана.

Выпил царевич глоток, сделал другой – и полегчало чуток. Уснул крепенько, а утром к себе обратно Григория кличет, посидеть просит рядышком. И так день за днем Григорий Ефимович был с царевичем рядом близехонько: водицы даст испить, следом помолится. И помаленечку-полегонечку поднял-вылечил так Алешеньку. Стал тот радостный да румяный весь, словно и не болел, не хворал отродясь, а здоровым жил. Царь с царицею не нарадуются, зовут Григория Ефимовича во дворец к ним жить, подле сына быть. Только тот не соглашается, все отнекивается:

– Куда мне, мужику деревенскому, дурню запечному, манерам всяческим не обученному, да за один стол с вельможами. Они ж меня в порошок сотрут, по ветру развеют, оговорят-охают, все обиды на меня столкают. Отпусти меня лучше, царь-батюшка, в Сибирь, на родину. Буду там жить, за Алешеньку Бога молить, просить Господа о здоровьице отрока вашего.

Не хотел его царь со двора пускать, а деваться некуда. Все вокруг него шепчутся, возводят напраслину, слух дурной идет про старца Григория. А клевета – что уголь, не обожжет, так замазает, перед людьми ославит.

Уехал Григорий Ефимович обратно в родное село Покровское – к семье, к своим детушкам. Только зависть людская прежде родилась, в душу забралась, видать, крепко там прижилась. Нашлись такие люди, что через Григория решили царскую семью известить, на всех людей горе навести. Подослали в дом к Распутиным тетку Хионию, а может – Харитонию, по-разному ее называли-кликали. Хотели, чтоб она через него в царский дом попала, у самой императрицы фрейлиной стала. Только глянул на нее Григорий Ефимович глазом опытным и всю, как есть, насквозь просветил-высветил.

– Иди, тетка, откуда пришла, и все дела. Ржа в железе не удержится, неправда в человеке не укроется, Замыслила ты недоброе-нехорошее, да меня тебе не обойти, не объегорить, не таких видели.

Разозлилась та, нож из-за пазухи выхватила-достала да старца в грудь и ударила. Только сил не хватило Божьего человека убить, жизни лишить. Господь миловал. Отлежался-оклемався Григорий Ефимович да обратно в Петербург наведалься. А и там его недруги встретили, заманили обманом, слукавили и убили совсем до смерти.

Стал царевич Алешенька хворать с тех пор, совсем худо ему сделалось. И царь с царицею от печали-тоски великой проглядели-проворонили, как изменники во дворец пробрались и лишили их трона царского. Обошли-объегорили и в Тобольск отправили, откуда родом был Григорий Ефимович. Года они в Тобольске не прожили, как свезли на Урал да там и замучали...

Вот ведь как бывает, когда нет людей верных, душой преданных, а измена кругом – что ни город, то и Содом.

Разное и сейчас про старца Григория говорят-сказывают, пальцем показывают, языком треплют, словно венником, а понять не могут, что был он праведником.

А Покровское село до сих пор стоит, о старце помнит, как он при царевом дворе жил, наследника Алешеньку лечил, от него зло отводил.

Чудотворье **(повествование о Чудотворной Абалакской иконе** **Знамения Божией Матери и событиях, с нею связанных)**

Чудо – сам факт существования человека на Земле. Чудо свершается ежедневно с каждым новым восходом солнца.

Чудо – это рождение ребенка.

Чудо – это Любовь.

Чудо – это наш мир.

Русский человек всегда безоговорочно готов был поверить в чудеса, происходящие с ним. Его вера безгранична и чиста. Обращаясь к Богу, он не просит несметных богатств или власти над ближним. И Господь дарует чудо верующему человеку. Недаром говорится: по вере да воздастся.

На вновь обжитых землях наряду с жильем тотчас закладывались храмы, часовни, строились монастыри. И как только православный человек утвердился на новом месте, обживется, почувствует себя хозяином, Господь не оставляет его своим вниманием, являя чудеса. И одно из них – это явление Чудотворных икон, которые становятся его покровителями, защитниками и целителями. В дорогу и на битву с недругом брал он ее с собой. Обращался за исцелением от страшных недугов и немощей. С радостью и печалью православный человек шел к чудотворной иконе, доверяя ей самое сокровенное.

На месте явления Чудотворной иконы Абалакской Божией Матери и был основан под Тобольском Абалакский Знаменский мужской монастырь, и со временем он стал центром притяжения огромного числа верующих, паломников, стекающихся в него со всей Сибири.

Во времена революционного лихолетья исчезла чудотворная икона Абалакской Божией Матери, и до настоящего времени неизвестно, жива ли она. Да и сам монастырь был разрушен, обезображен – там размещалась колхозная МТС. За последние годы при ныне здравствующем владыке Димитрии началось его восстановление, вновь поселились в кельях монашествующие.

И может быть, может быть, еще на нашей памяти произойдет второе явление Чудотворной иконы. По вере да воздастся! Но для этого всем нам надо верить в ЧУДО.

Видения

Шел 1636 год. Московское государство еще не до конца оправилось после времени, именуемого Смутным. Уже три года, как умер отец царя Михаила Федоровича, патриарх Филарет. Два года, как подписан «вечный мир» с Польшей, но еще многие русские города заняты иноземцами...

Стольному городу Сибири, Тобольску, на другой год исполнится ровно 50 лет. Всего 15 лет, как открыта Сибирская епархия.

...Далека Сибирь от Москвы. Вольная страна и вольный народ, что ее населяет. Со своими нравами и обычаями, куда хотят, туда и воротят. Лихой народ гуляет по дорогам с пищалю-ружьишком да кистенем за поясом. И грабят безжалостно охотников, купцов, татар, и вогульцев прихватывают. Добычу в кабаки тащат. Вино хоть и дорого, зато в избытке. Крадут, отбирают и баб-девок у инородцев, живут с ними не венчаны, а надоест, в том же кабаке за четверть и выменяют-сбудут.

На всю сибирскую ширь бескрайнюю всего-то стояло несколько церквей да часовенок. И те гуляющий народ стороной обходит, на службу не заходит. Духовенство местное от воевод городских всяческие притеснения терпело, мыкалось. Как первый владыка, Киприан, в Сибирь

приехал, то в крайнее изумление пришел. Монахи с монашками в монастырях сообща, скопом живут, постов не блюдут, службы ведутся как попадая, не по чину. От расстройства такого написал владыка патриарху Филарету в Москву: мол, более греховодного народа, в блуд впавшего, о святом крещении забывшего, во всем свете ищи, не сыщешь.

Патриарх же строгую грамоту прислал, велел по всей Сибири на торгах и площадях читать, что коль и дале так сибиряки жить станут, о вере святой забыв, то отлучит всех от православной церкви и анафеме предаст. Поутихли мужики малость, стали воеводы гуляющий народ по дорогам, урманам ловить, к работе-делу государеву пристраивать, на землю садить, наделы делить.

Только не любо вольному народу под царев указ подпасть, подать платить, мирно жить. Сойдутся-соберутся с десяток таких ватажников в кабаке вечерком и айда власть чернить-костерить, срамным словом крыть.

– Последние деньки доживаем, мужики, пока Москва о нас не проведала, нашими припасами не пообедала, – ухмыляется один.

– Русь лапотная повалила да нашу волю задавила, – вторит другой.

– Еще десять годков назад у нас в Сибири как было? Любая баба соболей с крылечка коромыслом била!

– Ага! А теперь? Все добытые соболя на воеводском дворе переписаны, пересчитаны, немцам-иноземцам обещаны на воротники нашей воле вопреки, – остальные откликаются.

Однако сколько ни шуми, ни кричи, а от государева ока не спрячешься на печи. Пришел конец лихой вольнице. Самые своенравные дальше на восток подались, куда царева рука пока не дотянулась, к земле не придавила, в работу не определила. Остаются на обжитых местах люди к труду привычные, к занятиям разным обычные: пахари, кузнецы, плотники да иные справные работники.

А на архиерейском дворе, на высокой горе, затевается строительство славное, небывалое, никем досель невиданное. Везут туда и известь, и глину, бревна с реки толстенные, в два обхвата, волокут-тянут, готовятся новый храм рубить о двенадцати главах – взамен сгоревшего во имя Софии Премудрости Божией. И в короткий срок возвели-сработали храм чудный-затейливый, за десять верст из-за реки с любого конца видный. Потянулся народ на службу в святую церковь, начал в грехах своих каяться, ко причастию смиренно подходить. А как вера христианская на сибирскую землю пришла, то и народишко лихой поутих, остепенился, в церквях быстренько окрестился. Стали и в деревнях-выселках свои храмы рубить-строить, батюшек для службы у владыки просить. Так оно и бывает: куда вера придет, там и народ мирно живет.

И вот на самый 1636 год и вышел случай необыкновенный, на все времена памятный.

...Стоял на 25-й версте от города Тобольска погост небольшой. Абалакским прозванный. Над Иртышом-рекой поставленный, близехонько от юрт татарских. Мужики свою пашню орут-пашут, в лесу зверя добывают, по реке с неводом ходят, на зиму для скотины сено косят, бабы холсты ткут, пряжу прядут, тем и живут. От работы да от заботы в лес не убежишь, в подполье не спрячешься, она тебя и там найдет, в оборот возьмет. Тихо народ на погосте живет, свой век ведет, хоть и без прибыли, но и себе не в убыток. Нищий-убогий заглянет – без пирога не уйдет, кружку киселя всегда нальют, да и на ночлег примут-возьмут.

И жила меж прочими на том Абалакском погосте вдова одинокая, мужа давно как схронившая-потерявшая, горя досыта хлебнувшая, не один год без помощника-заступника прожившая. Звали ту вдовицу Марией, а другое прозвание нам неизвестно. Господь, верно, знает, да нам не открывает. Была она, Мария та, нрава тихого-мирного, на соседей обид, дум темных не держала, судьбу свою не кляла, не проклинала. Лишь Бога славил за то, что жива и верой крепка. По воскресным дням в храм ходила, а на престольные праздники в Тобольск спешила, когда пешком, а случится, так и на телеге попутной добиралась. Службу там отстоит, свечку восковую дешевенькую купит, у иконы Богородицы затеплит, молитву прошепчет, о доле своей

вдовьей поведаает, украдкой слезу утрет, да и обратно пойдет. Так и жила: одна забота, что утром сызнава ее работа.

Видение первое

Глядишь, так бы и дальше та Мария жила, да только Господу угодно было иное. Первый раз видение случилось 10 июля, в тот самый 1636 год, когда лето на перелом идет, к ночи ото дня часок убавило, к себе приставило, спит-почивает Мария в избушке-домике, после работы многотрудной намаявшись. Вдруг видит во сне три иконы перед ней в воздухе висающие. Испугалась было, села на кровати, глаза открыла, а иконы как висели перед ней, так и никуда не девались, сияют золотом, ликами пречистыми, на всю горницу лучистыми. В серединке икона Знамения Божией Матери, справа – Святителя и Чудотворца Николая-Угодника, а слева – Преподобной Марии Египетской.

И слышит она тут голос самой Богородицы, к ней, вдове бедной, сошедшей:

«Мария! Объяви об этом видении народу и скажи, чтобы на Абалакском погосте построили по правую сторону ветхой Преображенской церкви новую деревянную во имя Знамения Пресвятой Богородицы, что в древнем Новгороде, с приделами по одну сторону Святителя Николая, а по другую – Преподобной Марии Египетской».

И исчезло все... Словно и не было... Сидит в изумлении вдовица, ни жива ни мертва, руки к груди прижавши, в удивлении, в полном изумлении и, как быть, не знает. К батюшке бежать? Поверит ли? Кто она такая есть, чтоб перед ней сама Владычица Небесная на землю опустилась, во сне явилась? За что такая честь? Чем от прочих поселян отлична, в чем праведна? А коль соседки узнают, то и совсем прохода не дадут, всячески высмеют, со света сживут, хоть глаза завяжи да в лес беги.

Затаила Мария в себе эту весть-явление. Даже на исповедь не пошла, чтоб себя и людей в сомнение не вводить. Не поверила в свою избранность, повременить решила, а вдруг все на том и кончится. Решила жить дальше по-старому, а там сама жизнь покажет, где правда, где вымысел...

Видение второе

Не прошло и двух дней, как приключилось с вдовой Марией другое чудо. Возвращалась она вечерком с поля и уже к крылечку домика своего подошла, за ручку взялась, хотела дверь открыть, как вдруг накрыло ее светлое облако, туманом окутало, и она тут же на травку без чувств упала, сознания лишилась-потеряла. А как глаза разлепила-открыла, и видит: висят перед ней в воздухе две иконы – Знамения Божией Матери и Марии Египетской, а Николай Чудотворец самолично перед ней на земле стоит и сердито так выговаривает:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.